

ГАУХАРТАС

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ

Дулат Исабеков

Гаухартас

SANA PUBLISHING

УДК 821.512.122
ББК 84 (5Қаз)
И 85

Исабеков Дулат
И 85 Гаухартас. Повесть. – Алматы: «Sana Publishing», 2025. – 104 стр.

ISBN 978-601-82373-4-8

Дулат Исабеков — известный писатель и драматург, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. В произведениях этого самобытного автора, имеющего неповторимый стиль, глубоко раскрываются национальные традиции, характер и духовная природа казахского народа.

Одним из таких произведений является повесть «Гаухар тас», в которой автор стремится постичь сложный, многогранный мир человеческой души. В ней изображены разные по натуре люди и трагическая судьба героини.

В данный сборник, помимо повести «Гаухар тас», вошли также произведения «Бекет» и «Молчун».

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой бы то ни было форме – фотокопировании, электронным, механическим или иным способом – без письменного разрешения ТОО «Sana Publishing».

УДК 821.512.122
ББК 84 (5Қаз)

ISBN 978-601-82373-4-8

© Исабеков Д., 2025
© «Sana Publishing», 2025

ГАУХАРТАС

Тастан удивительно похож на отца, разве что молод. Плечи широченные, и – верзила: полтора таких, как я. А разденется – залюбуешься: на груди и руках играют мускулы, будто что-то тугое перекатывается под кожей. Одна странность всегда поражала меня – он никогда не спешил. Кричи ему даже: «Волки в стаде!» – нехотя поднимется и лениво идет к старой полуразвалившейся землянке, возьмет седло, а потом так же неторопливо вернется в дом за оставшейся там камчой. Затем неохотно подойдет к своему коню, гнедому с белой звездой на лбу, и станет медленно его оседлывать. А когда поедет – вообще неизвестно. Во всяком случае, мне кажется, что поступит он именно так.

Его медлительность – единственное, что не нравилось отцу. Во всех других отношениях Тастан для него – один из лучших джигитов. Настоящий мужчина! Сил у Тастана хоть отбавляй! Стандартные мешки у нас в доме почему-то называли «русскими». Так вот, зажмет он пару таких мешков под мышками и идет, перешагивая лениво через все, что попадается на пути.

В нашем доме «русских» мешков не держали. В землянке, где мать хранила продукты, стояли канары – черные, полосатые, пестрые. Все их соткала мать. Канары огромные и набиты до того туго, что, кажется, вот-вот лопнут. Их он носил тоже легко – играючи.

Еще Тастан удивлял своей любовью к кокпарам. Стоило ему заслышать весть о намечавшихся где-то состязаниях, он преображался на глазах. Даже дышать начинал по-особому – ноздри трепетали в нетерпении. В больших карих глазах загорались огоньки. С этой минуты овцы и все заботы о них отступали на задний план. Ночи напролет он хлопотал возле своего коня: мыл, чистил, расчесывал гриву. И расходовал на своего гнедого столько воды, что бочка к утру пустела. Воду обычно носил я, потому и злился на Тастана – такое расточительство! Начинал тихонько поругивать брата. В таких случаях отец подзывал меня пальцем и говорил: «Иди к овцам, а воду я наношу сам».

Отец поощрял эту увлеченность Тастана: сам когда-то на кокпарах любил бывать первым и гордился, что старший сын у него – истинный батыр. А еще ему нравилось, что Тастан не болобонит языком без конца, молчалив, даже суров – полная противоположность мне, младшему сыну. В такие дни он окружал Тастана особенным вниманием, подолгу и охотно говорил с ним, давал советы. Но вообще-то отец, как говорится, держит Тастана в кулаке. Да и все мы побаиваемся его. Суров отец, ох суров – слова поперек не скажи. Тастан уж на что огромный, способный, горами ворочать, как нам кажется, но стоит отцу прикрикнуть на него, становится податливым, как комок ваты. Возможно, поэтому я, хоть и не ахти какой любитель древней игры, тоже с нетерпением жду вестей о предстоящих кокпарах. Что ни говори, а обстановка в доме разряжается – всем становится будто теплее, уютнее...

Ни отец, ни Тастан не баловали меня. Не помню, произносил ли кто-нибудь из них ласковое «айналайын»*. Зато не раз приходилось слышать, как отец выговаривал матери: «Будешь

* Слово, которое выражает глубокую любовь и нежность к человеку

сюсюкать – загубишь парня. С блажью в голове вырастет».

...Сегодня дома необыкновенно тихо. На кровати в углу неслышно спит Тастан. Укрылся с головой тонким байковым одеялом – не шелохнется. Завтра мне ехать учиться, – далеко, в самую Алма-Ату. Как говорит мать: поможет всемогущий Азирет Султан – поступлю в институт, не поступлю – вернусь домой. Можно прожить и без института. Лишь бы здоровье было, а учение никуда не уйдет.

Отца дома нет. Куда уехал – неизвестно. У него в обычае не посвящать домочадцев в свои дела: того и гляди – вобьют себе в голову, что слишком много понимают! И мы привыкли не перечить ему, помалкивали – не ровен час, налетишь на его гнев. И привычка эта вошла в кровь и плоть.

Вернуться отец должен был к вечеру. Но теперь почти полночь, а его все нет... Ложась спать, Тастан обещал, что завтра отвезет меня на гнедом к железнодорожной станции. Согласиться на это его уломали насилу. «Лошадь устанет, – говорил он. – Поезжай на ишаке. Оставишь его у Сопыбека, а мы потом пригоним его обратно». Но вмешалась мать. «Бессовестный ты! – запричитала она. – И как у тебя язык поворачивается! Коня пожалел! Брата родного – на ишаке! Что люди скажут? Не сдохнет твой гнедой. Вези – не возражай!» Тастан

не стал перечить, лишь буркнул: «Ладно! Уже и не скажи ничего!» С тем и заснул.

А мать все хлопотала вокруг меня. Засовывала в потрепанный черный чемодан что попадалось под руку. – И разве есть у них жалость? Своя кровинка, родной сынок на чужую сторону едет, а они – один мотается где-то, а другой спит», – бормотала она. Потом подходила ко мне, гладила по волосам и целовала. Теплые капельки слез падали мне на лоб. Я чувствовал, что у самого щиплет глаза. Наверно, я, и правда слабохарактерный, как утверждал отец. Жалко мне было маму – понимал, как оскудеет ее жизнь после моего отъезда. Ведь всей ее радостью был я.

Наконец снаружи послышался конский топот. В юрту вошел отец.

– Не спите? – спросил он, вешая камчу у двери.

В голосе его слышалась непривычная теплота. Я обрадовался: хоть перед моим отъездом смягчился немного. Мать тут же принялась накрывать на стол.

– Погоди с этим, – остановил ее отец. Потом снял с себя желтую телогрейку, с которой не расставался даже летом, стянул и кинул на пол брезентовые сапоги и присел на постели рядом со мной. Мать притихла и смотрела на него выжидающе. Ясно было, отец привез какую-то

новость. Разве иначе он сидел бы с таким таинственным видом?

– Дудар бас![*] – позвал он меня через некоторое время.

Я вздрогнул.

– Ау, коке?[**]

– Сходи посмотри, что с овцами. Бывает, эти ненасытные в степь норовят уйти.

Я понимал, что дело вовсе не в овцах, но, не говоря ни слова, встал с кровати, сунул ноги в материны ичиги, вышел на улицу. Звезды весело перемигивались друг с другом. Красный диск луны медленно поднимался из-за гребней Каратау. У погасшего очага лежал Байканшик, старый сторожевой пес. Чуть дальше, со стороны темного кургана, доносился приглушенный лай Сырттана. Овцы, согнанные в низину, дружно похрустывали жвачкой. Казалось, и двинуться лишний раз им было лень – так разморила ночная прохлада.

Отец у нас – хозяйственный человек, скотину любит и знает, но выдворил он меня отнюдь не в тревоге за овец, потому я и не вернулся сразу, а побродил некоторое время, чтобы взрослые могли свободно наговориться.

---

[*] Кучерявый

[**] Отец

Наконец я направился домой. Перед самым порогом прокашлялся, давая о себе знать, и распахнул небольшую дверцу. «О чем они, интересно? Что это за секрет такой, о котором я ничего не должен знать?..»

Тастан сидел напротив отца. Он, видимо, не совсем еще отошел ото сна: веки заплыли, глаза казались щелочками. Бритая голова поблескивала в тусклом свете керосиновой лампы. Увидев меня, он поднялся, потянулся и равнодушно сказал: «Что ж, дело ваше, решайте, как знаете...» Сказал и снова завалился спать.

Мне хотелось спросить, что случилось, но не хватало решимости. Лишь за полночь, когда уснули отец и Тастан, мать подсела ко мне и без утайки рассказала обо всем.

...Итак, отец предложил Тастану жениться. Это известие поразило меня. Я знал, конечно, что рано или поздно Тастан женится, поставит себе новое отау – юрту молодоженов. Но не думал и не предполагал, что это произойдет так неожиданно. Ведь у Тастана и на примете, кажется, никого не было. Трудно мне было понять, как можно за то время, что я провел во дворе, решить такое важное дело.

До самого утра в ушах моих звучало слово брата: «Что ж, дело ваше, решайте, как знаете...» «Что за человек такой? Неужели все равно ему? – думал

я, разглядывая ночные звезды через тундик – верхнее отверстие в юрте. – Он же женится!.. Это ведь на всю жизнь. Да если бы со мной такое случилось, разве уснул бы я? А может, так и должны поступать настоящие мужчины?»

Помню, когда в прошлом году волки загрызли двух овец, так он куда больше за них переживал. «Смотрите, лежит себе спокойно... Неужели он в самом деле спит?»

Признаться, я всегда мечтал о женеше*. И сейчас, один со своими мыслями, слушая ночную тишину, я чувствовал, как радость прохладной волной подкатывается к сердцу. Какая она будет, моя женеше? Она представлялась мне и умной, и красивой, и ласковой. Не может же она быть такой сухой, как отец и Тастан! Нет, моя женеше будет непременно веселой, приветливой, радостной. Как знать, может, с ее появлением и в нашем доме с его железным порядком все переменится? Может, и отец подобреет? А мы с нею вдвоем попробуем переделать недотепу Тастана, расшевелить его... И мне казалось, что все именно так и будет – просто не может быть иначе!

...Я радовался, хотя женитьба Тастана рушила разом все мои планы. Отец сказал матери:

* Жена старшего брата

– Пусть Дудар бас повременит с учебой. Не к спеху. Гости будут – встречать надо. Да и скот пасти некому. Пусть уж войдет в наш дом сноха, а там, на будущий год, и отправим его учиться. Год ничего не изменит.

Я не стал возражать: понимал, что моя помощь действительно необходима моим близким. К тому же мне не хотелось уезжать еще и потому, что до сильно хотел своими глазами увидеть те перемены в нашем доме, о которых я так много мечтал. Мать же просто не скрывала радости, что я остаюсь. По ее словам, я был «еще слишком мал». «Пусть окрепнет, – говорила она, – познает жизнь». Тогда у нее и сердце не будет болеть за меня, находящегося на чужбине...

В знойный день лета, когда, кажется, и яйцо в гнезде сваривается вкрутую, Тастан в сопровождении двух джигитов и двух стариков поехал в направлении Тогансая. Обычно, когда у молодых джигитов, выросших под суровой отцовской опекой, спрашивают: «Ну как, с охотой женишься?» – они отмахиваются стыдливо: «Да бросьте, коке...» Тастан и здесь остался верен себе. На другой день после того памятного разговора, что происходил без меня, отец спросил у Тастана: «Может, ты против? Может, нет у тебя желания жениться на дочери старухи Кыжым?» Тастан, старательно

разжевывая холодное вяленое мясо и запивая его жирным кефиром, потянул равнодушно: «Да нет, отец... Девушка, говорят, справная...» И больше ни слова. Посидел и пошел к овцам.

В день, когда надо было ехать за невестой, он тоже был с овцами. Я помню, побежал за ним в обед. Сказал: «Иди, отец зовет. Люди там собрались. Переодеться надо, поедете сейчас». Он лежал в траве. Раздвинул цветы, прикрывавшие лицо, и посмотрел на меня, будто впервые увидел. «Разве сейчас? А я думал, завтра». Потом встал, взял из моих рук бурдюк и жадно стал пить холодный шалап*. Выпив половину, вернул мне бурдюк. Потом надел узду на гнедого с белым пятном у лба, натянул подпругу. Лишь после того, как спокойно сел в седло, обронил:

– Смотри, не дай овцам разбежаться... И кто это ещё со мной едет?

– Не знаю, – ответил я.

Гнедой пасся неподалеку. Тастан накинул на него уздечку, подтянул подпругу. Взобрался не спеша в седло, наказал мне лучше следить за отарой и поспешил домой. Не оглянулся ни разу. Я долго провожал глазами богатырскую фигуру брата, пока тот не скрылся за склоном холма.

* Кисломолочный напиток

Вернулся он через два дня. Юрта наша стояла на берегу Аршабая. Речка маленькая – шагов десять в ширину, не больше, но мне она казалась огромной и полноводной. Начало свое она брала с далекого Кызыгурта и заканчивалась где-то у Арыси. Говорят, некогда Аршабай был действительно полноводным и шумным. И как бы свидетельством тому – отполированные скалы по берегам и крупный, почти галька, песок. Большая часть поймы теперь – отличное пастбище. Здесь буйно разрослись просвирник, бурьян, ковыль, ферула и другие сочные степные травы. Скот, забредающий сюда, не в состоянии оторвать голову от земли, до того, знать, сладкая трава.

По дороге, что пролегала через русло, туда-сюда проезжали машины, проходили стада, и пыль, поднятая копытами и колёсами, плавно стелилась над кустами мальвы, превращая вечерний пейзаж в дивную картину.

Тастан показался на дороге, когда степь, облитая закатными лучами, выглядела особенно торжественно и величественно. Человек пятьдесят гостей, приехавшие на той, шумно высыпали из юрт. Оживленно переговаривались друг с другом, наблюдали за путниками со склона холма. Несколько джигитов и девушек, не выдержав, побежали навстречу. Не утерпели и мы с матерью. Мать и смея-

лась, и плакала. Она не замечала ни слез своих, ни улыбки, бормотала нескончаемое «айналайын» и своему «черняво-му» и будущей невестке, мысленно обнимала и гладила обоих.

Машина подкатила совсем близко. Это был автоклуб Амангельды. Он часто наведывался к нам из центра, привозил фильмы. Каждый его приезд был праздником. В последний приезд Амангельды отец и уговорил его сопровождать сюда молодых.

Мы не узнали Тастана. Его загорелое круглое лицо словно скинуло обычную хмурость – сияло, и кровь играла на щеках, а ноздри широкого носа возбужденно вздрагивали. Ему к лицу были и соломенная шляпа на голове и синий бешмет, плотно обтягивающий могучее тело. Он по-прежнему напоминал статую сказочного батыра, но теперь эта статуя на время ожила.

Тастан не поздоровался ни с кем из нас. Ни глянул ни на кого, даже бровью не повел на приветствия. Лишь в объятьях матери задержался на мгновенье, дал ей поцеловать себя, потом сразу же направился к холму, где отец с несколькими стариками держал о чем-то совет.

Я кинулся было следом за ним, но он, не взглянув, махнул на меня рукой, отстань, мол. И все же я любовался братом в эту минуту: меня восхитили и его бесстрастное лицо, и монументальная фигура,

и богатырская поступь. Помимо воли я был очарован удивительной сдержанностью и суровостью, которые так нравились в нем отцу.

...Той* длился три дня. Молодежь шумно веселилась на лугу. Голубое небо над речкой Аршабай заполнили песни. Родная степь приняла в могучие объятия своих сынов и дочерей, пела вместе с ними, вместе смеялась, вместе радовалась. Девчата и парни были любителями веселья и шумных игр, забавлялись светлыми лунными ночами игрой в кости, пели, состязались в игре на домбре, а то затевали вдруг игру в прятки, и тогда звонкий девичий смех приглушенно замирал в высоких травах.

Весёлые, кокетливые снохи, присев под цветущими кустами, без устали перешучивались с ловкими, озорными деверями; а у девушек в эти лунные ночи впервые просыпалось нежное чувство к юношам.

Ухаживая за гостями, я не мог принять участия ни в одной из игр. Днем, не доверяя мальчишкам, которых посылал к овцам, я мотался на пастбище, а вечером, придя домой, успевал только ставить самовары, разносить блюда с мясом, привязывать коней, раздавать им корм.

На третий день после обеда я, как всегда, был на пастбище, когда прибежал запыхавшийся мальчуган.

* Пир, торжество

– Кайыркен-коке! – закричал он. – Я здесь останусь. Велели вам идти скорее, лицо невесте открывать.

– Массаган![*] Нашли кого!.. Есть же джигиты постарше... Удобно ли мне, каины[**], устраивать «бет ашар»?![***]

Под крышей широкого чиевого настила, сооруженного специально для гостей, стоял невообразимый шум. Не могли, оказывается, найти смельчака, который мог бы выйти в круг и открыть лицо невесте. Даже те джигиты, что знамениты были своим красноречием, сейчас молчали.

Неугомонные снохи выталкивали в круг высокого кудрявого парня. «Эй, – кричали они, – как болтать, так горазд. Выходи-ка, покажи свое искусство!» Вот уж где женщинам выпала возможность отыграться на парне! Многим он успел насолить, языкаст был. «Туу, зачем эти старые обычаи? То ли дело комсомольская свадьба! Не послушали...» – отбивался тот. «Э, гляньте, что этот долговязый мелет, – неодобрительно выкрикнула одна из старух. – Значит, веселиться – вам, молодым, а нам, старикам, по домам сидеть? Ишь, старые обычаи... Подумаешь, лицо невесте откроют... Что в том плохого? Так уж испокон веков ведется. Вон на свадьбе Каиркена по-комсомольски гулять будете. А здесь – по-нашему!.. А ты, если не мастак на тоях говорить, лучше бы совсем молчал. Кто языком много мелет, тот на деле ничего не умеет. А ну, Каиркен, – она повернулась ко мне. – Иди, айналайын[*], сам видишь, каков прок от этих бездельников. С восхода солнца сидим уж. Ничего, что каины. Зато в газетах стихи твои читаем. Иди на круг! Пусть полопаются от зависти эти болтуны! Эй, кара келин[**], принеси из дому скалку!»

Не дав слова сказать, мне протянули кусок белой ткани. Я опешил.

Белый отрез очутился в моих руках, пути назад, значит, нет. И тут же меня принялись подбадривать, не робей, мол, давай говори, потешь гостей.

Открыть лицо невесте – это, в общем, дело не простое. Прежде чем дотронуться до белого девичьего покрывала, надо произнести речь и найти такие слова, чтобы они всех поразили, и не только поразили, а как бы в шутливом тоне поддели их, не оскорбляя никого. Чтобы все просто посмеялись, но обид не было. Неважно, кого задевает шутка – пожилого, молодого или аксакала. Каждый из них

---

[*] Междометие, выражающее удивление

[**] Младший брат мужа

[***] Обряд смотрин невесты

[*] Слово, которое выражает глубокую любовь и нежность к человеку

[**] Смуглая сноха

2974-2

обязан, как говорится, проглотить ее. Находятся, конечно, и такие, что, не выдержав, бросают в ответ колкости. Но на это и рассчитана шутка. Поднимается смех... Долго потом люди вспоминают подробности церемонии.

Я, надо сказать, действительно кое-что сочинял. Но выступать перед таким количеством народа не приходилось. А потому, глядя в ожидающие лица, растерялся вконец. Не знаю, как очутилась у меня в руках скалка и как привязал я к ней белый отрез. Видел и понимал я только одно: все смотрят на меня и ждут чего-то необыкновенного. Отступать поздно. Вперед, решительно сказал я себе, вперед, Кайыркен!

Я увидел свою женеше в окружении снох. Тонкий белый шелк покрывал ее лицо. Она была стройна, чуть ниже меня ростом. Руки прижаты к груди. Белые тонкие пальцы едва заметно подрагивали. Она, казалось, не дышала, а может, замерла на мгновенье.

Вчера, отпуская лошадей пастись, я видел, как она, сидя под сопкой, говорила о чем-то с подругами. Солнце только что поднялось, и лазурная долина реки Аршабай купалась в золотом сиянии. Моя женеше* сидела, набросив платок на плечи, разговаривала с женщинами. Рядом с ней молодая Балагуль, показав на меня пальцем, что-то оживлённо говорила. Я догадался, что она знакомит меня:

– Вон тот – твой родной деверь, – объясняла она.

Я хотел подойти, но не решился, свернул к дому. И вдруг услышал, как Балагуль окликнула:

– Эй, Кайыркен! Иди сюда! – и вместе с её весёлым голосом звякнул браслет, сверкая на солнце.

Я подумал, что если подойду, золовке будет неловко, и, махнув рукой, крикнул:

– Балагуль, потом! Дел по горло!

Мой утренний голос растаял в просторной, благоухающей долине. И в тишине донёсся её звонкий, задорный смех:

– Ай, стеснительный! Хоть бы подошёл познакомиться!

...Наконец я взял себя в руки, смахнул со лба выступивший пот и начал читать стихи, которые, как мне казалось, подходили к ситуации. Затем перешел к главному. Собравшиеся были мне знакомы, достоинства и недостатки каждого я знал наперечет, а стало быть, и шутка должна была получиться...

На целых полчаса затянулось мое выступление. Потом я подошел к женеше и легко откинул с ее

* Жена старшего брата

лица покрывало. Вскинув ресницы, она глянула на меня и тут же опустила глаза. Они у нее были большие, ресницы длинные и загнутые кверху. На мгновенье лицо ее вспыхнуло, и тут же румянец схлынул со щек, еще совсем детские губы чуть заметно подрагивали, и было трудно понять, рассмеется она сейчас или заплачет.

Я передал кому-то скалку и отошел. Женщины в стороне судачили: «Невеста-то красивая! Тастан – молодец! Все молчит, а гляди, какую отхаатил! Награждает же бог некоторых! Помните, какую жену привез сын Рысбека, который в Ташкенте учился?.. Ойбай*, мать моя, что и говорить, она и ногтя этой келин не стоит. Нос шилом, глаза голубые...»

Да, моя женеше и впрямь была красавицей, и я невольно гордился, что она нравилась всем. Как бы мне хотелось проникнуть сейчас в мысли Тастана! Я отыскал его глазами. Он сидел в стороне на мешках с рисом и с упоением тянул из пиалы чай, поглаживая ладонью свою бритую голову. Если женеше, думал я, окажется так же умна, как и красива, то Тастан – счастливейший человек на земле! Но сам Тастан, видимо, так не думал, не осознавал этого. Мне кажется, что он вообще был равнодушен ко всему происходящему. Расстегнув ворот чекменя, наслаждался себе чаем и даже глазом не повел в сторону невесты. Странно, но я не винил

* Междометие выражающее удивление

в эту минуту Тастана. Непонятная злость на отца неожиданно обуяла меня. Разве не он воспитал Тастана таким? Разве не ему нравился именно такой Тастан? И не за то ли недолюбливает меня отец, что понимает – я не пойду у него на поводу, что каким бы слабохарактерным я ни был, а уж невесту выберу себе сам?

У отца было немало причин думать именно так. Ведь я, признаться, не всегда молча сносил его гнев, иногда решался и перечить. Бывало, сидит Тастан, прибитый очередной нападкой отца, а я говорю: «Эй, а язык-то у тебя есть? Чего молчишь? Возразить не можешь?» Тастан отделывался от меня, как всегда, подзатыльником.

Завтра в заключение тоя* будет кокпар**. Что ни говори, а долина Аршабая – самое удобное для этого место. Нет ни ям, ни кочек, которых можно было бы опасаться. На сотни метров тянется абсолютно ровная площадка, поросшая густой травой. Мечта джигита! Отпускай поводья и мчись во весь дух, подставляя себя степному ветру! Тастан с отцом, несомненно, ведут разговор о состязаниях. Вон как порозовели уши у Тастана, а глаза прямо искры мечут! Даже чай отставил в сторону.

* Пир, торжество

** Конное состязание, где всадники борются за тушу козла

Япыр-ай*, подумал я, неужели и на своей свадьбе он будет участвовать в кокпаре?

После церемонии открытия лица невесте веселье заметно пошло на убыль. Вскоре гости стали прощаться. К вечеру в доме остались лишь те, кого интересовал предстоящий кокпар. Уезжали кто на чем – на лошадях, на ишаках. Женщины с детьми и старухи втиснулись кое-как в машину Амангельды.

* * *

Прошел той. Прошел кокпар, одурманивший Тастана. Снова одинокой осталась сиротеть на берегу Аршабая наша юрта. Жизнь вернулась в привычное русло. Вокруг стало тихо. Я успел привыкнуть к многоголосому шуму свадьбы, и долго еще мне хотелось куда-то спешить, что-то делать. Но праздничных дел уже не было, остались будничные, а потому в душу закрадывалась тоска, будто в безлюдной степи я остался один. Все чаще и чаще я уходил с овцами в степь, чтобы побыть наедине с самим собой. Слишком уж пустым казался мне сейчас наш такой привычный двор, и колодец, и старенькая землянка – смотреть на них не было сил. Я забирался за самый Каратумсык, пускал овец пастись, а сам, опрокинувшись на спину, не отводил глаз от безмятежно голубого неба над Аршабаем. Какими прекрасными казались мне эти часы! Кругом ни звука! Разве что овцы похрустывают травой... Над самой моей головой в вышине крохотной точкой парит жаворонок. Я слушаю его песни. Запах земли, запах полыни, терпкий аромат курая и просвирника. Степной воздух бодрит, и постепенно исчезает грусть. Я испытываю непонятное мне самому наслаждение, хочу кричать и петь от восторга, переполняющего меня. И я пою. Радость, распирающая грудь, ищет просвета, и просветом этим становится песня. Песня, идущая из самой глубины сердца. Но и она не удовлетворяет меня. Тогда я принимаюсь за стихи... Если бы вы знали, сколько тетрадей исписал я! Но стихи не нравились мне. Иногда казалось, что и жаворонок, поющий в небе, и долина Аршабая, такая волшебная и томная в лунную ночь, – все в обиде на меня. Ведь то, что было в стихах, лишь слабое отражение красоты, царящей вокруг.

Я не замечал, как овцы забирались в тальник и как заходило солнце. Вечером на подмогу приходил Тастан, реже – отец. Увидев меня размечтавшегося, скептически усмехался и ворчал что-то вроде, мол, не стать тебе человеком. А когда начинал собирать разбредшихся овец, и вовсе ругался. Тастану же моя рассеянность была безразлична, как и все остальное, он молча собирал отару и гнал домой.

* Междометие выражающее удивление

Прошел месяц со дня женитьбы Тастана. Но ничего, казалось, не изменилось в его жизни. После тоя мы поставили молодым отдельную четырехкрылую юрту, и они жили там. С женой Тастан был сух, почти не говорил с ней, вел себя так, будто ее и рядом не было. Я жалел ее и чего-то страшился. Мне хотелось, чтобы она почувствовала тепло и уют в нашей семье, а вместо этого ее постоянно окружал холодок. Лишь изредка, ловя ее по-детски непосредственный смех, я радовался вместе с нею и испытывал такое облегчение, будто с души у меня сняли камень. Но как это редко случалось!

Салтанат оказалась такой, как я и предполагал. Она сразу включилась в домашние хлопоты. Мать поначалу пыталась отговаривать ее: «Ойбай, светик мой, я и сама управлюсь. Домашние дела такие – они никогда не кончаются. Успеешь наработаться». Но Салтанат не просто было отговорить. «Ничего, апа*, я и потом поработаю, и сейчас, – говорит она. – Как же мне без дела? Отдохните, я сама». Снимала с плеч матери коромысло с ведрами и шла к далекому колодцу или, низко сгибаясь, вносила в юрту большой, пузатый, оставшийся, наверно, со времен царя Николая, самовар.

Вот и сейчас, повесив большой черный казан над очагом, она заполняет его водой. Солнце коснулось края земли. День выдался ветреный, и потому овец мы держим неподалеку. Салтанат принесла охапку курая, подложила его под казан и подожгла. Потянулся горький сизый дымок, и вскоре веселые язычки пламени заплясали по стенкам казана. Еще через некоторое время дым исчез. Взвился вверху костер. Отсветы пламени охватили Салтанат, и она показалась мне в это мгновение по-новому прекрасной.

– Канркен, – позвала она.

– Ау!

– Ты можешь вырыть земляной очаг?

– Н-не знаю... А вообще смогу.

– Тогда копай. Только не здесь. Этот больно глубокий, огонь до казана не доходит. Я просила Тастана, а он говорят: «Сама вырой». А то отнекивается: «Некогда...» Просто не может, наверное, а?

Серебристый смех заглушает ее последние слова. Красивый смех, шаловливый. Безобидное подшучивание над мужем. «Сейчас вырою», – говорю я. «Темно уже. Завтра, как выберешь время, сделаешь, ладно?»

Она трет кулачками глаза. Дым попал в них. Я сижу на седле у порога и наигрываю на домбре. Она подходит и, нагнувшись, спрашивает:

– «Гаухартас» – «Жемчужину» сумеешь сыграть?

* Мать

– «Гаухартас»? Песня, что ли?

– Да, песня. Не слыхал?

– Да не-ет... Я думаю, песня на домбре не получится. Кюй – другое дело...

– Нет, – говорит она, выпрямившись. – Кюй – это одно, а песни на домбре тоже получаются. И как!.. Но ты не можешь...

Сказав это, Салтанат направилась в юрту. Я засмущался. Смех ее долго еще стоит в моих ушах...

Салтанат привыкла к нам с матерью скоро. Когда не бывало отца и Тастана, она часто потешалась надо мной, беря в союзницы мать. «Правильно ведь, апа?» «Скажите, апа, разве не так?» «Апа, вы ведь тоже знаете?» – звонко восклицала она... А мать в ответ заговорщически кивала головой, да, мол, знаю... Салтанат веселилась, мать смеялась вместе с нею. В доме становилось уютно, хорошо.

Как-то рассказал я ей свой сон. Приснилось мне, будто хожу я среди девушек. Все красавицы, все разодеты, похожи на героинь из «Тысячи и одной ночи». Сижу среди них, играю на домбре. А сам уже влюбился в одну. И она меня полюбила. Остальные приревновали ее ко мне и решили утопить нас в море. Мы сели в лодку и уплыли от них. Тогда девушки превратились в больших птиц и полетели за нами. Моя возлюбленная превратила себя в чебака, а меня в щуку. Проползли мы с ней

по дну и выбрались на какой-то берег. Там я вдруг потерял сознание. Девушка побрызгала на меня морской водой... И знаешь, открываю я глаза уже наяву – идет дождь. Овцы ушли далеко от меня – все проспал.

Салтанат сначала рассмеялась, а потом, таинственно улыбаясь, сказала, что я буду жить долго, что будет у меня красивая жена. Но что-то сткрывалось лукавое и в ее взгляде, и в улыбке, трепетавшей на губах.

И надо же – в один прекрасный день, когда они с матерью, как обычно, потешались надо мной, Салтанат как бы между прочим выложила ей мою тайну. Я вспыхнул до корней волос, а Салтанат, будто и не замечала ничего, все посмеивалась:

– Я вам, апа, еще стихи прочитаю, которые он этой девушке посвятил, хорошо?

– Прочитай, прочитай, родная.

– Вот. Слушайте:

В кругу красавиц молодых
Себя увидел я во сне,
И обнял я одну из них,
И океан взревел во мне.

И чувство сладкое с тех пор
В груди ношу я наяву.
Ай, Дарига! Твой жаркий взор
Мне не забыть, пока живу...

– А он неплохой поэт, правда, апа?..

Что скажет мать? Молчит. Улыбнулась только. Я еще больше смутился. Что меня поразило, так это память Салтанат. Я прочел ей стихотворение всего раз, и она слово в слово повторила его...

Только теперь, будто осознав, что своим поведением поставила меня в неловкое положение перед матерью, она едва заметно кивнула, словно говоря: «Ничего страшного», прикрыла глаза и вышла наружу.

...Как-то выйдя из дому, я увидел, что Тастан и Салтанат вытягивают канат из колодца. Было время обеда. Вдали, в степи, отец гнал овец на водопой. Жара стояла невыносимая. В знойном воздухе плыли серебристые паутинки. Они спускались на траву, на редкие кусты, липли к лицу. Зеленые кузнечики, скрипя, перелетали с места на место. Жаворонок, забившись под полынь, раскрыл клюв от жажды. Мое присутствие насторожило его, но он продолжал сидеть, наверно, не в силах заставить себя взлететь.

– Чего пришел? – взъярился Тастан, завидев меня.

– Как чего? Помогать, конечно. Сам верблюда в поводу водишь, а Салтанат канат вытягивает...

Тастан тускло глянул на Салтанат, отмахнулся:

– Подумаешь, цаца! Умрет, если канат потянет? Пусть тянет. Женщины раньше колодцы в сорок аршинов рыли – и ничего.

Эти слова занозой впились мне в сердце. Тастану, видно, все равно, обидится Салтанат или нет. Он повел верблюда. Когда животное дошло до конца площадки, ведро подступило к самой кромке колодца. «Тяни!» – заорал Тастан. Дрожащими от напряжения руками Салтанат ухватилась за канат и опрокинула воду в астау – деревянное корыто, из которого пьют овцы. Затем снова бросила ведро в колодец. Когда она, выпрямившись, откинула со лба прядь мокрых волос, я, к своему удивлению, не заметил на ее лице и тени огорчения. От жары на щеках выступил румянец, и она казалась еще привлекательнее, чем всегда. Увидев меня, улыбнулась. Смахнула со лба капельки пота, произнесла виновато: «Тяжелое ведро-то...»

– Раз уж здесь ты, – сказал мне Тастан, – иди к верблюду, а я пойду коня напою...

Тастан ушел. Меня поразило, как вдруг потускнело лицо Салтанат. Что-то грустное появилось у нее в глазах.

– Не жалеет он меня, – сказала она тихо. – Не знаю почему. Думает, может, что у меня сил столько же, сколько и у него. Придем к колодцу, велит мне канат вытягивать, а сам с верблюдом ходит. И еще ругается, плохо, мол, тянешь.

В голосе Салтанат не столько обиды, сколько удивления. И странно, я даже улавливаю в нем нежность к мужу.

– Ты устала, дай мне канат. Иди к верблюду, – говорю я, передавая ей в руки волосяной повод. Она противится сначала, а потом начинает насмешничать. «Ты ведь хрупкий такой, как девочка, – говорит она, – еще свалишься в колодец...»

Слова задевают меня. Но Салтанат сидит на краю колодца, смотрит вниз. Не видит, что я обиделся. Болтает весело ногами, зовет: «Каиркен, а Каиркен, посмотри сюда! В колодце мое отражение!» Я молчу. Она поднимает на меня свои черные глаза, и мне уже не хочется показывать своей обиды, портить ей настроение.

– Где?

– Вон, посмотри.

Я гляжу на дно колодца. Откуда-то из глубины на нас смотрят двое. За ними голубое небо. Смеемся мы, смеются они. Мы показываем им палец, они – тоже.

– Позавчера я показывала эту картину Тастану, – говорит Салтанат.

– Да? И что же он? – Мне действительно стало интересно.

Она раскатилась звонким хохотом.

– Что он скажет? Отругал. Говорит, ненормальная ты.

* * *

Наступила пора осенней стрижки овец. Процедура эта тянется недолго, всего несколько дней, но и за это короткое время чабаны успевают сбиться с ног. Стригальный пункт находится далеко от нас, километрах в тридцати. Надо два-три дня, чтобы добраться до него и пригнать отару назад. Стригали работают ловко. Если нет очереди, они обрабатывают за день целый загон. Стало быть, с отарой можно управиться до обеда.

Отец с Тастаном спозаранку двинулись в путь. Накануне было решено, что с отцом поеду я, но, как назло, к нам нагрянул Аскербек, которому председатель колхоза поручил поставить насос. Аскербек поднял невообразимый шум, требуя от отца помощника.

– Насос ставить – не баранов пасти! – заносился он. – Мне нужен человек, который хотя бы гайки крутил.

Отец, которого сразу же замутило от этих воплей, велел мне остаться, у тебя, мол, нюх к железу есть. Я помог им отогнать отару до самого Костобе. Это километрах в трех от нашей летовки. И пока добирался до дому, солнце успело высунуться из-за высоких хребтов Каратау. И степь, и гряды холмов были облиты нежным розовым светом. Небо чистое-чистое. Над самым нашим домом застыл

крохотный кусочек совершенно прозрачного месяца. Он едва был различим в голубизне неба, казалось, таял от перенапряжения: ведь ночь напролет струил на землю свое серебристое сияние.

Долина Аршабая, лежащая в низине, еще в тени. Перед нашими юртами полыхает костер. У огня хлопочет Салтанат, готовит завтрак. Утро безветренное, и потому синий кизячный дым идет кверху высоким длинным столбом. Ясно доносится до меня материнское «ту-ту-ту». Это она кормит наших кур. Со стороны долины, по которой протянулись длинные утренние тени, тянет свежестью и прогорклым кизячным дымом.

– Ой, айналайын! – встретила меня мать. – Как запоздался ты. И зачем пошел так далеко? Мог и с перевала вернуться. И те – молодчики, не подумают, что ребенок устать может. Салтанат, милая, дай Каиркену холодного кефира.

Не в пример другим старухам, любившим покрикивать на невесток и называть их «келин», мать звала Салтанат по имени – сразу полюбила ее. Салтанат, я чувствовал, нравилось это. Она на минуту скрылась в юрте и вынесла оттуда большой расписной тостак – деревянную чашу, полную холодного жирного айрана. Я жадно припал к чаше. Взгляд мой нечаянно упал на Салтанат, стоявшую напротив. Пять месяцев она приходилась мне жене, но я никак не мог увидеть в ней женщину. Она скорее была похожа на девчонку, едва достигшую зрелости. Вот и сейчас, юная, милая, стоит передо мной, очень напоминая девчонку, впервые попавшую на танцы.

А её глаза, чистые и блестящие, как взволнованный взгляд настороженной лани, отражали невинность и искренность души. Из-за нежно изогнутых, счастьем улыбающихся губ поблёскивали ровные, белоснежные зубы – словно рассыпавшаяся нить жемчуга. Лицо её сияло, как рассвет над горами, а две косы, густые и блестящие, спадали на колени, будто струи тёмного шёлка. Голубое шелковое платье, облегавшее её стройное тело, придавало ещё больше очарования и утончённой красоты.

Выпив чашку, я протянул ее Салтанат.

– Еще? – спрашивает она.

– Нет. Спасибо.

Я гоню оставшихся во дворе овец к Каратумыску и около полудня возвращаюсь домой. Скрипучая кровать Тастана после его женитьбы досталась мне. Сейчас на ней лежит Аскарбек. Спит. Я пошел к колодцу поковыряться в насосе. Солнце поднялось высоко. Начинало припекать. Со стороны дома послышалось: «Каиркен!» Я оглянулся. На перевернутой деревянной бочке стояла Салтанат и махала мне рукой. Умывшись из астау, я пошел

2014-3

к юртам, на ходу ладонями утирая лицо. Аскербек проснулся. Щурился на солнце, зевал. Увидев меня, подошел ближе.

– Откуда? – спросил он безразлично.

– С колодца.

– Насос видел?

– Видел.

– Смотри не касайся его, испортишь.

Сказав это, отвернулся и солидно прокашлялся. За мальчишку принимает меня! Да я в этих насосах не хуже, чем он, разбираюсь. В школе проходили.

– Туу, и как вы здесь живете? – проговорил он через некоторое время. – С тоски можно подохнуть. Я бы дня не вытерпел. Здесь, наверное, и танцев не будет.

– Почему не будет. Будут танцы, – сказал я, закипая от раздражения.

– Да ну, кто же будет танцевать?

– Бараны и овцы.

– Эй, ты как разговариваешь со взрослыми?! Смотри-ка на него!.. Да вы должны меня уважать. Я ведь вам мотор соберу, понял, мотор! – разозлившись на меня, он отошел в сторону и присел на холмик. Немного помолчав, вдруг спросил:

– Водка хоть есть в доме?

– Откуда водка у чабана?

– Э, необтесанный! Где же водке быть, как не у чабана? Они, брат, ящиками берут... А может, врешь?

– Нет.

– А курево?

– У нас никто не курит.

– Туу, что за люди? Никакой культуры!..

Он взглянул на меня снисходительно, мол, трудно с вами! Я понял, что насоса он ставить не будет.

Вздохнув тяжело, будто говоря: „В таких условиях работать трудно", он поднялся с места и направился в юрту. Понимая, что он сегодня всё равно не заведёт мотор, я тоже глубоко вздохнул.

После завтрака мы отправились в степь. У колодца он долго тянул время, заглядывая в мотор с той и другой стороны, что-то подкручивал там, подвинчивал – просто время тянул. Припекало.

– Принеси-ка ашымал*, пить захотелось,– сказал он.– От кефира несет горькой полынью.

Я принес. Он опорожнил чашу до половины, потом блаженно развалился на земле. Сказал:

– Эй, а женеше твоя красивая. Как ее угораздило за Тастана выйти? К таким девчатам не то что Тастан, а джигиты из тех, кто и получше, как я, к примеру, подступиться не могут. Денег небось переплатили уйму! А?

* Напиток, из сваренного зерна с добавлением закваски

Слова хлестнули меня прямо по живому. Впервые во мне проснулась ревность. Я поглядел ему в глаза:

– Слышишь, ты!.. Иди ты со своим насосом... Знаешь куда? Можешь не ставить. Но языком не мели. Понял? – Выждав паузу, добавил: – Ты, может, себя лучше Тастана считаешь? Дурак!.. Не можешь к девушкам подойти, себя вини!

– Да знаешь ли ты, молокосос, что это отец твой ее засватал? А Тастан – он только на кокпарах скакать умеет. Нынешним девчатам наплевать на это искусство. Ясненько? Так что помолчи. Не будь отца, твой братец до седых волос в холостяках бы ходил. Глядите-ка, сам красотку отхватил!.. Слово даю, не жить ему с ней – сбежит она от него.

Я, не вытерпев, подскочил и ухватил его за ворот:

– Заткнись! Не то башку проломлю!

В руках у меня оказался тяжелый молоток. Он глянул на него, потом на меня и зло бросил:

– Убери. И поскорее. Как бы он по тебе не заиграл.

Я понял, что при всей своей решимости не могу ударить его, потому что вообще не могу ударить человека, и отпустил его ворот. Но стоило мне отвернуться, он тут же жестко ухватил меня за локоть. Молоток оказался в его руке. Я стал отступать. Вид у Аскербека был страшен. Казалось, он не остановится ни перед чем. Пожалел его, дурень!

– Хорошо! Разобьешь мне голову, – сказал я, прижимаясь к колодцу. – Но запомни: все, что ты говорил, передам Тастану. Посмотрим, как он тебя отделает!

При упоминании имени Тастана парня будто водой окатили. Занесенная было рука с молотком упала. Но, не желая показывать, что струсил, он презрительно сплюнул сквозь зубы:

– Руки об тебя марать не хочется.

Отбросил молоток в сторону и скорым шагом пошел к дороге, где как раз в это время показался какой-то грузовик. Подумаешь, размышлял я ему вслед, насос и сами поставим. Обойдемся!

До самого заката я возился с насосом. Из бревешек выложил клетку – что-то вроде фундамента, втащил насос на него и уже начал распутывать шланги, когда почувствовал, что глаза мне закрыли чьи-то мягкие ладони. Поначалу я вздрогнул, но тут же догадался – женеше.

– Салтанат!

– Ну конечно! Кому же, как не мне, быть здесь? – Салтанат встала рядом. – А где тот парень?

– Ушел.

– Почему?

Я помолчал немного, потом придумал:

– В центре, говорит, девушка заждалась. С утра к ней торопился.

– Э, вон как. А завтра придет?

– Нет.

– Ну и пусть не приходит. Дутый он какой-то, строит из себя невесть что. Мы и сами все сделаем, правда?

Я кивнул головой. Потом мы умылись водой из астау и возвратились к юртам. Низкое солнце заметно удлиняло наши тени. Салтанат, словно стараясь сравнить свою тень с моей, идет на цыпочках – осторожно, будто боясь нарушить гармонию. Но вот оступится, собьётся с пути, и, шатаясь, вдруг обвиняет меня:

– Это ты толкнул меня!

Когда я доказываю, что не виноват, она, не моргнув глазом, вновь прижимает меня к стене:

– А если видел, что я падаю, почему не поддержал?

И кажется тогда, будто вся красота этой степи собралась и влилась в грудь Салтанат, чтобы оттуда, из её существа, перелиться в песню – чистую, прозрачную, несущую свежесть и свет.

Я слушал её пение неподвижно, долго.

В мелодии, царящей под небом Аршабая, было что-то чарующее: она уводила воображение в иной, дивный мир, пробуждала тело, будто тысячи тонких игл касались кожи, и подчиняла себе всю волю, не оставляя ни малейшей возможности вырваться из этого волшебства.

– Каиркен, – сказала она у самого дома, – давай я погоню утром овец?

– Ладно.

Я был удивлен ее просьбой. И она, видимо, догадалась об этом, потому что поспешила объяснить:

– Так хорошо утром в степи!

Мать, думая, что моторист придет усталый, раскатывала в тени сочни для бесбармака. Цыплята путались под ногами, и она отгоняла их коротким «кыш». Увидев, что мы одни, удивилась:

– Ойбай, а где же джигит?

– Ушел, – смеясь ответила Салтанат. – В центре, говорит, девушка его ждет, вот и заторопился.

– Надо же, – мать цокнула языком. – Нынешние девушки и ждать не стыдятся. А я тут с ног сбилась, думаю, проголодался он... Ну, а с водооткачкой как? Когда сделает?

– Каиркен сам сделает, апа. Уже и бревна успел разложить, все подготовил.

– О, бог мой, что ты говоришь? Разве он может такое?

– А почему бы и нет?.. Что здесь особенного? – произнес я, стараясь придать больше солидности голосу.

Мать просияла. Посыпались нескончаемые «айналайын» и на меня, и на Салтанат, милую невестку. Настроение у всех было приподнятое. Мать частенько бывала такой веселой и оживленной, когда оставалась с нами. Даже озорничала немного, вспоминая молодость.

И вообще в доме становилось как-то хорошо, когда Тастан с отцом уезжали куда-нибудь.

* * *

Утром, продрав глаза, я увидел, что дома никого нет. Мать и Салтанат аккуратно уложили свои одеяла на сундуки. В отсутствие Тастана Салтанат ночевала с нами. Одевшись, я выскочил на улицу. Солнце только вставало. Мать хлопотала у самовара, готовя утренний чай.

– Что ж не полежал? – спросила она. – Жизнь нынче пошла хлопотная, а?..

– Не до обеда же спать, апа! – засмеялся я, оглядываясь кругом.

Овец не было.

– С овцами Салтанат?

– Пусть Каиркен, говорит, поспит, а я до пастбища прогуляюсь.

Я не стал дожидаться чая, выпил залпом чашку холодного айрана* и побежал к колодцу. Только было взял в руки лопату, чтобы вырыть яму, как услышал со стороны Каратумсыка чей-то долгий протяжный голос. Я замер на месте, прислушался. Во второй раз голос прозвучал так же долго и протяжно. Он напомнил мне забытую мелодию. Что за песня? Я поднялся на сопку, голос послышался яснее. Точно, песня! «Гаухартас»? Так это Салтанат?.. Она!.. Не дьяволу же петь в степи!..

Не знаю, что сорвало меня с места, но я побежал в сторону Каратумсыка. Прохладный утренний ветер с Аршабая приятно обвевал лицо, рубашка наполнилась воздухом. Звонко похрустывал высохший курай. Ветер, шумевший в ушах, глушил песню. Запыхавшись, я остановился передохнуть. Голос послышался яснее. Я побежал снова.

Наконец я достиг вершины Каратумсыка, присел на большой черный камень и глянул вниз. Вот она, Салтанат, среди полыхающих цветов долины, не увядающих до самой глубокой осени, сама как большой полевой цветок, качается на ветру и поет.

Как она пела! Моя чуткая, моя добрая женеше! Казалось, что и камни, разбросанные кругом, и степь, простершаяся на километры, жадно внимают ее голосу.

Когда я на лицо твое смотрю,
Ночь глаз твоих и губ твоих зарю,

* Кефир

Как диво, я душой воспринимаю
И за тебя благодарю.

В твои глаза взглянул я как-то раз
И отвести уже не в силах глаз,
Арки моей прекрасный олененок,
Мечта моя, небес ночных алмаз!..

Салтанат пела, не отрывая глаз от чистого неба, от крошечного жаворонка, трепетавшего в вышине. Пела, раскинув в стороны руки, точно хотела захватить в свои объятия все: и небо, и солнце, и степь.

Я сидел не шевелясь, слушал. Голос Салтанат проникал в самую душу. Я чувствовал, как подчиняются песне моя воля, мой разум, весь я. Мелодия брала меня в плен.

Салтанат умолкла. Я перевел дыхание, тихо поднялся. Взобравшись на черный камень, я закричал:

– Салтана-а-ат!

Она вздрогнула, как олененок, глянула назад и, закрыв лицо руками, присела среди цветов. Потом вскочила на ноги и исчезла в высокой траве. Я потерял было ее из виду, но она скоро появилась. Глянув в мою сторону, погрозила мне кулачком.

Я сошел с холма и остановился возле нее. Лицо Салтанат горело. Чистые глаза излучали любовь, радость, песню. Щеки полыхали румянцем.

– Ты... слышал? – спросила она.

– Слышал...

– Бессовестный, понял? И как ты... Ой, Каиркен, родной, пожалуйста, никому не говори, ладно?

– Скажу. Обязательно скажу и – сейчас. Матери скажу: «Салтанат хорошо поет!» Помнишь, про сон и про стих? В расчете будем!

У нее обиженно затрепетали ресницы.

– Ну и говори, – бросила она. – А я скажу, что и не пела вовсе.

Она повязала на голову косынку, отвернулась. Сорвала цветок и пошла к овцам. Мне стало весело. Я любовался ею.

Сказав это, она гордо, словно назло мне, поправила на лбу свой голубой платок и направилась к овцам, которые беспорядочно бродили по склону. Пройдя немного, Салтанат сломала длинный стебель мальвы и стала погонять стадо в сторону дома. Я тоже пошёл рядом, помогая ей собирать овец с края. В душе я улыбался её капризному нраву, любовался ею. Время от времени украдкой поглядывал на неё.

Когда до загона осталось шагов сорок-пятьдесят, мы остановили овец на участке, где росли сухие степные травы и повернули домой. Салтанат шла чуть позади меня, на расстоянии вытянутой руки, потом вдруг пробежала вперёд, перегородила дорогу и сказала:

– Ты ведь и правда собираешься это сказать, да?

– Конечно, скажу, – ответил я. – Скажу: «Апа, а Салтанат ведь настоящая певица!» Тогда она непременно попросит тебя спеть.

– Пожалуйста, Кайыркен, не говори этого, – взмолилась она. – Я ведь просто так... На самом деле совсем не умею петь. Потом... потом, через год, сама спою, ладно?

Я взглянул на ее лицо. Она и впрямь растеряна, смотрит умоляюще, будто просит от всего сердца. Прозрачный, чистый взор дрожит, словно ожидает моего согласия. Мне стало ее жалко. Решил не смущать ее пока при матери и сказал:

– Ладно, – кивнул я.

Она едва не подпрыгнул от радости. Лицо ее озарилось улыбкой, и она быстрыми шагами направилась к своей юрте. Лишь когда притихла колышущаяся алаша* у входа, я повернулся в сторону колодца.

* * *

...Насколько хороши и праздничны в наших краях летние дни, настолько же суровы и беспощадны зимы. Как только пожухла трава и подули холодные осенние ветры, мы всей семьей перебрались на зимовку в урочище Косинген. Время от времени ночами уже шел снег. Правда, он не держался долго,

* Кошма

таял, не успев долежать и до полудня. Но через два дня после нашей откочевки небо обложили серые тучи, с Каратау подуло влажным ветром.

Утром я вышел и удивился ослепительной красотой. Все вокруг было покрыто снегом. Зима! Высохшие желтые стебли травы и курая сиротливо торчали посреди белой равнины. Конское седло и алаша, что случайно остались во дворе на ночь, присыпало снегом. Тастан старательно вытряхивал их. Завидев вышедшую Салтанат, я закричал:

– Салтанат! Снег!

– Как красиво! Как замечательно! Ты посмотри, ты только посмотри! – Салтанат захватила горсть пушистого снега, запрокинула голову и положила его в рот.

– Вот дура! – произнес Тастан. – Выплюнь сейчас же! Где это видано, чтобы есть снег! Простудишься и помрешь.

– М-м, – закапризничала Салтанат, захватывая следующую горсть. – Давай поиграем лучше. Хочешь?

– Чего?

– Поиграем, говорю, в снежки?

– Ненормальная!

Но в Салтанат точно бес вселился. Она умяла снег в горсти и что есть силы запустила им в Тасте-

на. Он не успел увернуться, и снежный ком снес с его головы малахай.

– Эй, да ты совсем спятила! – рассердился Тастан, – Проваливай, говорю!

Салтанат расхохоталась.

Не помню случая, чтобы она злилась на Тастана. И хотя он частенько покрикивал на нее и даже иногда замахивался, она все эти выходки встречала спокойно. Молча пережидала, пока он успокоится, а потом опять принималась смеяться. Смеялась, по-детски запрокидывая голову. И Тастан, озадаченный, отходил. Вот и сейчас он ругал почем зря Салтанат, а она смеялась.

– Чего скалишься? – говорил он, надевая малахай. – Что здесь смешного? Дождешься взбучки, может тогда что-нибудь поймешь.

– Не грозись, – отвечала она. – Ты лучше снегу поешь, остынешь.

Она снова захватила горсть снегу и засмеялась, показывая белые зубы. Потом сунула пушистый комок в рот.

– Придется свозить тебя к мулле, – сказал Тастан и скрылся в доме.

Я видел, что Тастан не понимает Салтанат, что ласка, с которой она льнет, ему чужда; он, наверно, и красоты ее как следует не рассмотрел, не расслышал призыва к радости в ее звонком переливчатом смехе. Эх, Тастан, Тастан, до чего же ты глух и слеп!

После того как Тастан ушёл, Салтанат, шлёпая по снегу, зашла в дом. «У-у, ищай!» – сказала она, прижимая к моей шее свои ледяные, промокшие ладони, и тело моё невольно дрогнуло. Она подошла к железной печи, сняла обувь, набитую снегом, и встала на тёплую мягкую подстилку.

– Ойбу, миленькая, ты что, как ребёнок со снегом играешь? – сказала мама, усаживая Салтанат на место у печи. – А ну-ка, садись сюда, а то простудишься.

* * *

Однажды утром, взобравшись на отцовского жеребца, я погнал отару на зимнее пастбище. Снег, выпавший за ночь, возле нашего дома был весь истолчен многочисленными копытцами животных. С каждым днем мы все дальше и дальше уходили от нашего жилища в поисках пастбищ. Остатки полыни, горчака, верблюжьей колючки и других степных трав овцы будто слизывали.

Я гнал овец в сторону Кызылжара, где была до того ровная степь, что глазу не за что было зацепиться. Ни одно копыто в эту зиму еще не ступало по ней. Разве что зайцы да лисы, про-

мышлявшие себе на обед, оставили свои следы. День выдался сумеречный, но на пастбище, как ни странно, было тепло. По всем приметам ожидался буран.

Отцу не нравилось, когда не придерживались порядка в пастбище. «Овцы не должны разбредаться по степи, – говорил он, – пастбища следует использовать разумно. Как знать, какие дни выпадут впереди». На скотном дворе у нас горами высились стога сена. Астау* в изобилии были засыпаны кормом. Но мы не расходовали пока запасов, да и овцы еще свободно могли добывать под снегом похрустывающую на зубах полынь.

Проголодавшиеся за ночь животные разбрелись по полю. Я сошел с коня, отпустил подпругу и пустил его пастись. С собой я прихватил большой тулуп. Расстелив его на снегу, пристроился удобно и начал читать. Овцы, на мое счастье, пока держались вместе.

Через некоторое время я случайно глянул в сторону нашего дома и заметил вдали черную точку – явно двигался верховой. Привстав, я стал ждать его и вскоре различил всадника, скакавшего сюда. Я был в недоумении. Охотники в эти края обычно не заглядывали, и Тастану тут делать нечего. Отец же, когда я уезжал из дому, чинил свои сапоги – тоже вроде никуда не собирался. Кто же тогда? Да еще на гнедом Тастана? У нас в доме никто не осмеливался тронуть его коня...

Конник, свернув налево, исчез в ущелье. «На лис кто-то вышел», – решил я и, сев на коня, поскакал навстречу. Догадка моя оправдалась. Из ущелья верховой вынырнул неожиданно, впереди него, виляя, неслась лиса. Я пришпорил свою лошадь, чтобы помочь охотнику. Лиса оказалась хитрой: успевала срезать угол перед самым носом всадника, а пока он разворачивался, отдыхала и снова пускалась наутек. Я нагонял их. Всадник показался мне знакомым. Что меня удивляло, так это странная для мужчины посадка на коне. Но скоро и это перестало занимать меня, потому что вынырнувшая из-под ног лиса теперь уже окончательно захватила мое внимание. Завидев меня, лиса метнулась в сторону и помчалась прямиком через поле в сторону Кызылжара. Рыжее пламя метнулось под самыми копытами жеребца. Пока я разворачивался, она успела уйти на расстояние брошенного камня. Охотник в эту минуту промчался мимо. Неужели Салтанат? С чего это так расщедрился Тастан, отдавая ей своего коня? Как разрешил ей натянуть его малахай и полушубок?

* Корыто для корма

– Салтанат! – закричал я. Но она не оглядывалась.

Лиса, достигнув Кызылжара, исчезла из глаз. Видно, нырнула в нору. Салтанат по инерции пронеслась вперед, потом повернула коня и подъехала ко мне. Сняла с головы малахай, встряхнула волосами и жарко выдохнула: «Уф!» И улыбнулась.

– В нору ушла! – сказала она. – А ты хорош. Не на лису, а на меня всю дорогу глазел. Не признал, что ли?

– Конечно. Я и сейчас не узнаю. Диву даюсь, как ты сумела у Тастана коня выпросить...

– Выпросить! – расхохоталась она. – Да разве он даст его? Спит Тастан. Вздремну, говорит, до обеда... Я на улицу вышла, гляжу – гнедой оседлан. И так мне покататься захотелось – сил нет. Я ведь часто верхом ездила, когда отец жив был. Да теперь, видно, разучилась...

– А где лису встретила?

– Лису? За Бургендисаем. И не выдержала, азарт взял! Погналась.

Я не отрывал глаз от ее разрумянившегося на морозе лица. Оно излучало радость. Салтанат, лаская, похлопала гнедого по крутой шее. Но разгоряченный конь не внимал ласке, яростно грыз удила, глаза его блестели.

– Тастан не простит мне, – сказала Салтанат. – Правда ведь?

– Гм-м... Да как знать...

– Ну и пусть! Зато на коне покаталась, душу отвела... Поворчит и перестанет. Вот посмотришь, он сам как-нибудь скажет: «Салтанат, бери коня, когда хочешь!» Не веришь? И зря. Он ведь хороший, только бука чуть-чуть...– Она помолчала. Не знаю, верила ли она сама в то, что говорила. – Ладно. Поеду я... Да, чуть не забыла. Орехи вот...

Она вытащила из кармана полушубка пригоршню орехов и протянула их мне. Пальцы у нее были теплые-теплые.

– Ну, бывай! – и, помахав мне малахаем, поскакала прочь. Ей к лицу был этот малахай. Да и вообще ей шло все. – А про лису я расскажу Тастану. Обязательно! – прокричала она, обернувшись. Потом вы с ним поставите огонь и распустите дым, чтобы поймать ее в капкан, – сказала Салтанат, после чего слегка придержала поводья гнедого и поскакала рысью прочь.

Я остался стоять на месте, не в силах двинуться.

Долго ещё перед глазами стояло её прекрасное лицо, не сходил образ чёрных, будто смородиновых, смеющихся глаз.

И звенящий серебристый смех всё ещё, казалось, звучал в моих ушах.

...За полдень приехал ко мне Тастан. На ишаке. Он никогда не ездил с отарой на своем гнедом, да и другим не позволял, даже отцу. Брат был хмур, лицо посерело.

– Езжай домой, отец зовет! – сказал он. Голос его был злым, шипящим. Я решил, что он злился на Салтанат.

– Тастан, вон там, в Кызылжаре, лиса...– начал было я, но он оборвал:

– Провались ты со своими лисами. Мотай домой!

Поговорили, называется.

Отец ждал меня у порога. Я привязал лошадь, хотел было пройти мимо, но он остановил:

– Эй, Дудар бас! – голос звучал сердито. – Это ты на гнедом лису гонял?

Ах, вон как! Они думают, что это я гонял гнедого. Я! Не Салтанат! Потому, не задумываясь, ответил:

– Я, отец.

– Ну вот, говорил же я! А невестка тебе коня вывела?

– Да.

До этого в интонации отца были, казалось, какие-то примиряющие нотки, но вдруг из него плеснул гнев:

– И ты, как ненормальный, за лисой? Чтоб ты провалился вместе с ней! Совсем коня замучил! Нет чтобы Салтанат урезонить, черт знает, на что подбиваешь ее. Всыпать бы тебе за такие дела!

Он вскинул было камчу, но потом опустил руку. Я не шелохнулся, будто и не замечал его движения. Некоторое время он постоял молча, потом сунул камчу за голенище и пошел к конюшне. Я зашел в дом.

Перед печкой сидела мать, пряла. Она слышала, конечно, как отец ругал меня, глянула в мою сторону, тихо вздохнула. Салтанат не было. «У себя, наверное», решил я.

– Апа, что случилось? – не выдержал я.– Почему ты молчишь?

Мать отложила в сторону веретено, вздохнула.

– Сынок, да на кой вам сдалась его лошадь? – сказала она и помешала кочергой угли в печке. – Столько шуму поднял... Заставил плакать бедную Салтанат...

– Что ты сказала? Он бил ее?

– Да.

Я сорвался с места и кинулся на половину брата. На деревянной кровати, укрывшись с головой пестрым ситцевым одеялом, лежала Салтанат.

– Салтанат, – позвал я, подходя к ней. Она не ответила, – Салтанат! – позвал я еще.

Потом откинул одеяло: она плакала, закрыв ладонями лицо. В первый раз видел я, как она плачет. Избил! Вот подонок! Из-за лошади...

Салтанат снова натянула одеяло на голову, не хотела, видно, показывать слез.

– Салтанат, тебе больно?

Мать из передней комнаты проворчала:

– Чего ты пристал к ней? Уйди...

Я снова откинул одеяло, отвел от лица руки Салтанат. Под глазом у нее был синяк, а на правой щеке багровый след от камчи.

Противная злая дрожь сотрясла меня.

– Бессердечные! – закричал я.– Что в нашем доме делается!

Не слушая мать, схватил нож, которым обычно резали скотину, и кинулся вон. Когда я вбегал в конюшню, навстречу попался отец.

– Ты что, угорел? – сердито прикрикнул он. – Куда несешься? – И в это мгновенье взгляд его упал на нож, – Ты что надумал?

– Если для него лошадь дороже человека, я прикончу ее! Пусть потом попробует меня тронуть!

– У-у, безмозглый! Дай сюда нож! – Отец потянулся было ко мне, но я убрал руку. Тогда

он крепко ухватил меня за запястье и скрутил. Нож упал на пол. Отец поднял его и сунул за голенище. Ему было за шестьдесят, но справиться с ним – не берись. Да я и не сопротивлялся, отец все же.

– Тастану отомстить решил, брюхо его лошади хотел вспороть? – пробурчал он. – Идиот!..

Потом, когда гнев мой немного поостыл, посадил меня рядом с собой и заговорил уже тихо:

– Умру я, вы и перегрызетесь. Года вроде идут, а ума не прибавляется... Подумай сам, прикончил бы ты лошадь – легче стало бы? Не легче! Ты бы их навеки поссорил. А так через недельку-другую помирятся. Жена она ему. Жена! Как подерутся, так и помирятся, куда им деваться? И нечего по каждому поводу за нож хвататься. – Посидел молча, потер свои крепкие руки одна о другую и опять заговорил о том, что я уже слышал много раз. – Тастан – мужчина. Камчу на жену поднять может. А у тебя – только слюни. Будешь у своей бабы как листок на ладони. Захочет – в кулак зажмет, захочет – сдунет. Да... И слов-то на тебя тратить не хочется. Все мимо ушей. И – не кривись! Дело говорю, а ты кислую рожу корчишь. – Отец махнул рукой: – Глядеть на тебя тошно!

– Иди, ступай домой. – Отец махнул рукой и принялся сбивать лед, намерзший на седельных

покрывалах и мешках. Я еще долго стоял на том месте, потом, стараясь не привлечь внимания, тихо отошел прочь.

Да, в словах отца действительно было немало истины. Впервые именно сегодня его слова заставили меня задуматься. После этого я сильно смутился сам перед собой за то, что когда-то вышел с ножом, словно всадник. И впервые я заметил, что отец не слишком доволен многими чертами характера Тастана.

* * *

...Дня через два мы с Тастаном чинили сарай. Надо было нарезать досок, укрепить разрушенный в некоторых местах навес. Навес был большой, под ним свободно могла уместиться целая отара. Мы впрягли в сани одногорбого верблюда и отправились в Бургендысай за дровами. После истории с гнедым Тастан не разговаривал со мной. Даже ругать перестал.

Вокруг лежал чистый белый снег. С запада дул резкий ветер, и с неба кружились снежинки. Черный верблюд медленно шел по снегу, словно играя, иногда рявкая, иногда тихо ступая. Даже если ты готов лопнуть от напряжения, он не поторопится. Сколько бы ты его ни пинал, ни бил, ни колол – для него это не имеет значения. Только когда коснется хлыст, он рявкнет и, словно уж срезанный, с хрустью шлепнет своим коротким хвостом.

Впрочем, нельзя винить бедного верблюда – он с момента рождения переходил от одного пастуха к другому и сильно закален жизнью. Когда он попал к нам, у него была лишь массивная шея и бледные следы рогов. На отдых у него не было ни времени, ни возможности; едва он прибыл к нам, как сразу включился в работу с колодцем. Сейчас он свободен от этой работы. Но тяжёлые испытания остались позади, и хотя он физически поправился, пока это никак не сказалось на его поведении.

Чтобы не попасть под метель, мы с Тастаном без передышки сгребали снег в две лопаты. На санях нам было холодно, но когда принялись за работу, вскоре разгорелись и даже сбросили свои тяжёлые фуфайки. Пар валил от Тастана. При каждом взмахе топора на него с веток осыпался снег.

– Тастан, – позвал я, когда сделали небольшую передышку.

Он молчал.

Чтобы не попасть под метель, мы вдвоём без передышки сгребали снег в две лопаты. На санях нам было холодно до костей, но, когда принялись за работу, вскоре разгорелись и даже сбросили свои

тяжёлые шерстяные шапки. С тела дымился пар, и с каждым ударом лопаты сухой снег вздымался облаками, а большие сугробы ссыпались один на другой.

– Тастан!

– Чего?

Я знал, что мне надо было поговорить с ним об этом, но слова отчего-то застревали в горле.

– Почему... почему ты... так жесток с Салтанат?..– наконец выдавил я.

Он вытаращил на меня глаза, рявкнул:

– Пошел вон! Не твоего ума дело! Работай лучше!

Вот и весь разговор. Мне так много хотелось сказать Тастану о Салтанат – о нежности ее души, о ее детской непосредственности... Мне казалось, что во мне скрыт заветный сундучок, полный самых красивых слов о моей женеше. Крышка его распахнулась было, чтобы дать волю этим словам, но Тастан тут же захлопнул ее...

Мы уже укладывали на сани срубленные кустарники калины, когда со стороны нашей зимовки показался всадник. Это был отец. Натянув поводья, он осадил коня и спросил:

– Кончили?

– Кажется, кончили, – ответил Тастан, оглядывая срубленные кустарники. – Хватит?

– Хватит не хватит, грузите скорее. Ветер крепчает. Ты, Дудар бас, скачи на центральную усадьбу, скажи председателю, чтобы дал транспорт – корма к зимовке подвезти. Задует буран – не скоро кончится. Понял?

Я кивал головой.

– Да смотри не робей, не съест тебя председатель. Молодцом будь! Держи поводья!

Я вскочил на коня. Снег захрустел под копытами. Отец прокричал мне вслед:

– Эй, чтобы до центра и обратно! Иначе – на буран нарвешься!

* * *

Председатель обещал завтра же прислать трактор, и я, не медля ни минуты, поскакал обратно. Буран начался, когда я въезжал на центральную усадьбу. Теперь ветер с каждой минутой крепчал, на столбах надрывно гудели электрические провода. Прохожих на улицах поселка видно не было – попрятались. Даже собаки, обычно целыми сворами носившиеся по дорогам, исчезли неизвестно куда.

Когда я добрался до дому, буран бушевал вовсю. Невозможно было разобрать, откуда дует ветер. Колючий, как песок, снег яростно хлестал по лицу.

Мать беспокойно металась по комнате.

– Ой, айналайын, добрался-таки? – радостно воскликнула она. – А я уж боялась, как бы ты не заплутал где! – Она поспешно снимала с меня одежду. – Ойпырмай, а руки-то, руки у тебя как ледышки!

– Апа, отец где?

– Все за овцами пошли. Говорят, пока они возились, голов двадцать от отары отбилось.

– Салтанат там?

– Там. Тастан приказал. Я пыталась было отговорить ее, так она и слушать не стала. Пешком пошла.

– Давно?

– Еще светло было. Пора бы уже и вернуться...

Я понял, что Салтанат обиделась на Тастана и потому ушла. Одна. Значит, она не вернется, пока не найдет овец. Мне стало боязно за нее. Что с ней в такой кромешный буран? Да еще пешком. На лошади бы ничего – конь к дому сам дорогу найдет...

– Апа, дайте мне чашку горячего бульона. Согреюсь малость. И пойду.

– Куда пойду? – всполошилась мать. – Ты посмотри, что на дворе!.. А она, наверно, уже и встретилась с кем-нибудь из них.

– А если не встретилась? Как они посмели посылать ее в эту бурю?..

Мать, видно, поняла, что я не отступлюсь от своего. Не говоря больше ни слова, сняла крышку с булькающего на печи черного казана и налила полную чашу жирного горячего бульона. Потом, испугавшись, по-видимому, что я заснешу и уйду, вытащила шумовкой большой кусок вареного мяса, начала торопливо разрезать его на куски. Я торопливо проглотил пять-шесть больших кусков мяса и запил их бульоном. Отдал ей чашку и вышел на улицу. Ветер подхватил вытолкнутую мной дверь и с треском хлопнул ею об стену. Снег валил нескончаемыми хлопьями. Ночь входила в свои права. Не знаю, есть ли на свете что-нибудь более трудное, чем искать в непроглядной степи человека, ушедшего в неизвестном тебе направлении, да еще в буран. Я оседлал рыжего и двинулся в сторону пастбища.

Мог ли я быть уверенным, что найду Салтанат? Кто в моем положении может быть уверенным? Лишь мысль, что я должен искать, должен во что бы то ни стало, подталкивала меня вперед. Буран только теперь будто приметил меня, решил позабавиться. Бросал мне в лицо пригоршни снега, рвал с головы малахай. Рассвирепев, он будто задался целью свалить с ног и рыжего и меня. Крепкий пронизывающий ветер со свистом обрушивался то спереди, то бил в затылок. Рыжий, уставший за

день, шел медленно, оступался. К тому же он был и голоден – не успели покормить. Все чаще издавал он «фыр!», утомленное и жалобное.

Возможно, оттого, что я долго проблуждал по степи, глаза мои успели привыкнуть к темноте и свистопляске бурана. Порою я различал впереди какие-то кусты, сиротливые ветки курая.

То и дело останавливая лошадь, я прислушивался к степи, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук, кроме буранного воя. Но все было тщетно. «Отец с Тастаном, – думал я. – Они мужчины, да и на лошадях. А что с Салтанат? Одна, пешком». Я холодел от страха и сам не замечал, как подстегивал рыжего. Картины одна страшнее другой мерещились мне. Казалось, что Салтанат лежит где-то рядом без сознания. А то вдруг представлялась мне одинокой, беззащитной посреди стаи волков. Натягивая поводья, я кричал: «Сал-та-на-ат!» Свирепый буран подхватывал это имя и смешивал со снежной пылью. Ни отзвука, ни вскрика. «Сал-та-на-ат!» И опять мне отвечал буран.

Сколько времени колесил я по буранной степи, может, час, а может, три. Уже давно потерялись всякие ориентиры, место, где я был, казалось мне совершенно незнакомым. Рыжий тоже устал. Все чаще и чаще останавливался, тяжело нося боками.

Впереди неожиданно показалось что-то черное. Я натянул поводья, всмотрелся. То ли сена стог, то ли верблюд... Предмет, казалось, покачивался из стороны в сторону. Затаив дыхание, я прислушался. Никаких звуков. Поддал бока коню, двинулся вперед... Мазар – старая могила. Здесь покоятся двое – отец и сын, когда-то погибшие в степи. Могила их всего в трех-четырех километрах от нашего дома. За нею, чуть подальше, – кладбище. Почти рядом и колодец Коскудык.

Сколько раз я, бывало, слышал, что кладбище часто становилось убежищем для тех, кто заплутал в степи в такую вот буранную ночь. Может быть, и Салтанат здесь? А может, она уже вернулась домой?

Трудно сказать, в этот момент или когда я тронул коня, чтобы осмотреть могилки, мне почудился в вое бурана слабый звук. Я напряг внимание. Звук повторился. Что это было? Стон ли человека, блеянье овцы или плач ребенка? А может, волчий вой? Доносился он слабо, слух едва улавливал его. Понял я только, что исходит он из старого мазара. Я вздрогнул. Одна лишь мысль о том, что кладбище заговорило, навевала на меня ужас. Конь подо мною, казалось, напрягся, насторожил

уши. Это лишь прибавило мне страха. И все-таки я поехал к мазару, каждое мгновение готовый повернуть вспять.

Все кругом было погружено во мрак. Зажав поводья, я спрыгнул с коня и вступил под сень мазара. Нога зацепилась за нечто, лежащее у порога, и я полетел во тьму. Рука, показалось мне, коснулась чего-то мягкого. Это «что-то» вдруг зашевелилось и начало подниматься. У меня потемнело в глазах, дыхание замерло. Руки и ноги отказались повиноваться. Дрожа, я едва поднялся с места. Лошадь, стоявшая снаружи, всхрапнула, рванула раза два за повод. Хорошо, что я догадался привязать повод к руке! Где-то рядом послышался стон. «Овцы!..» Сердце радостно застучало в груди.

– Тшау-тшау! – закричал я во весь голос.

От недавнего страха не осталось и следа. Только успел я прокричать свое «тшау!», со всех сторон и в самом деле заблеяли овцы. Замерзшие животные почуяли присутствие человека. Бедные! Они боялись и радовались, как люди. Ишь расшумелись, заслышав мой голос! Я зажег спичку. Во тьме стеклышками блеснули холодные глаза животных. А в углу мазара, ближе к двери, я успел расмотреть вытянувшуюся человеческую фигуру. Сердце у меня опять дрогнуло. Спичка погасла. Я спешно вытащил вторую. Она вспыхнула и погасла. Я чиркнул третьей. И в свете зыбкого пламени разглядел человека в тулупе.

– Салтанат! Салтанат! – завопил я и бросился к ней.

Она не шевелилась, не проявляла никаких признаков жизни. Я тормошил ее, без конца повторяя: «Салтанат! Салтанат!» Наконец что-то похожее на стон вырвалось из ее груди. Горячая волна радости обдала всего меня: я уже успел подумать, что она не очнется. Сердце от волнения подступило к самому горлу. Я бормотал: «Ты жива, жива...»

Никогда бы не подумал, что на этом самом кладбище я найду и Салтанат и овец. Стащил с нее тяжелый тулуп, стал растирать ей закоченевшие руки и ноги. Салтанат не отвечала ни на один мой вопрос, да и тело почти не повиновалось ей, так что мне пришлось повозиться, чтобы усадить ее на лошадь. Потом взобрался сам и тронул. Пройдя немного, я приостановился и, откидывая ворот ее тулупа, стал прикладывать ухо к лицу. Слыша слабое ее дыхание, я торопил коня.

Дома была суматоха. Только что вернувшийся отец, узнав, что Салтанат еще нет, засобирался снова. И когда я с женеше на руках вошел в дом, оба с матерью испуганно бросились мне навстречу. Мать запричитала, как по мертвой, лицо отца покривило судорогой. Я уложил Салтанат на полу

возле печки, и мать с воплями рухнула на ее тело. Отец, побледнев, опустил голову.

– Да жива она, жива! – кричал я им.

Лицо отца просветлело. Мгновение на нем трепетала радость, и опять он стал самим собой. Обычным приказным тоном сказал матери:

– Вставай! Так ты ее задавишь. И хватит выть! Итак она еле жива.

Но мать, видимо, не в силах была остановить своих слез, хотя теперь плакала от радости. Поразил меня и отец. Долго я потом вспоминал его на мгновенье посветлевшее лицо и радость, вспыхнувшую в глазах. Значит, и он мог быть просто человеком. Непонятно только, зачем глушил это в себе...

Часа через полтора вернулся Тастан. От мороза щеки его почернели. Он вздрогнул, когда услышал, что Салтанат полуживую привезли незадолго перед его приходом. Но нас ли постеснялся или уже привык так относиться к ней, к жене он не подошел и даже не спросил, где я нашел ее. Сдвинув широкие брови, присел на мешок с мукой у железной печи и долго сидел молча. Кто знает, какие мысли бродили у него в голове? Возможно, в эту минуту он жалел свою маленькую жену, может, проклинал себя за недавнюю вспышку гнева, когда оставил след камчи на ее лице. Или впервые подумал, что у его

жены мужественное и самоотверженное сердце. Может быть, он, не привыкший говорить ласковые слова, считавший подобное проявление чувств недостойным мужчины, смягчился в эту минуту? Все может быть. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы так было. Однако Тастан так и не подошел к ней, не проронил ни слова. Глядя на его каменную фигуру, я с горечью думал: «Бревно! Просто бревно! Только и на уме – своя гордость! Разве тебя переделаешь, если ты с детства отцом и знакомыми стариками приучен быть таким бесчувственным каменюгой!» Он очнулся и поднял голову лишь тогда, когда его окликнул отец:

– Эй, ты чего не раздеваешься?

Тастан вздрогнул. С сухим стуком упала на пол камча. Тастан поспешно поднял ее и, ни на кого не глядя, стал стягивать с себя верхнюю одежду.

...Салтанат пролежала в постели несколько дней. Она ела плохо, горячий бульон и тот пила лишь после настойчивых уговоров матери. Но мы теперь уже не боялись за нее, были уверены, что рано или поздно, а на ноги она встанет. На другой день после случившегося Салтанат впервые улыбнулась. Слабым голосом она рассказала нам с матерью, как наткнулась на какой-то курган, как увидела углубление (Салтанат только после моего рассказа узнала, что это был мазар), как загнала

туда овец, как решила пересидеть, пока утихнет буря. Нас беспокоило, что Салтанат продолжала кашлять. Мать перепробовала все народные средства – разжигала гармалу, изгоняла из нее болезнь, держа над ней белую курицу, давала пить полынь и конский жир. Но толку не было. Отец с матерью решили в конце концов, что в нее вселился не мороз, а «могильный холод», и послали меня за муллой. Однако я привез не муллу, а доктора Сапарбая. Старый доктор сказал, что у Салтанат острое воспаление легких.

– Организм молодой. Не страшно. Поправится, – говорил он.

Пробыл он у нас два дня. Обещал скоро проведать.

Через месяц кашель у Салтанат прекратился. А еще недели через две она выздоровела совсем и, как раньше, азартно включилась в домашние хлопоты. За время ее болезни успел подтаять снег. В воздухе чувствовалось приближение весны. Южная весна всегда лежит под снегом. Задует в один прекрасный день теплый ветер с Каратау, именуемый у нас «алтын курек» – золотая лопата, и на другой день побегут по земле шумные талые воды. Так случилось и на сей раз. Под ночь пошел дождик, а наутро все кругом обложил влажный туман. Исходила паром черная земля. Вид голой земли приносит радость. Широкая степь будто отдыхает после жестокой стужи. Рассеется туман, проглянет солнце, задует весенний ветерок над горами и степью, над холмами и низинами – и уже внятно слышится дыхание весны.

* * *

...Незаметно подоспела и хлопотливая пора окота овец. Тут, как говорится, некогда и тюбетейку на голове поправить. День и ночь чабаны не отходят от маток. Бывает, едва ноги несешь домой после работы.

Переступая порог, я первым делом искал глазами Салтанат, заглядывал ей в лицо. Очень хотелось увидеть прежнее озорство, прежнюю улыбку на ее лице. Я думал о ней всегда, даже на работе, молил судьбу, чтобы Салтанат снова стала веселой. Но ее будто подменили, не было больше той Салтанат, которая, бывало, заражала всех своей радостью и смехом.

Как-то пришел я домой особенно усталым. Салтанат была одна. Увидев меня, спросила: «Есть будешь?» – «Еще бы!» Она подала мне чашку свежесваренного молозива, уселась напротив и долго наблюдала, как я с жадностью ем.

– Ты обижаешься на меня, Каиркен? – неожиданно спросила она.

– С чего ты взяла? – удивился я и заторопился добавить: – Я никогда на тебя не обижаюсь. И мне больно и непонятно, почему ты грустна, Салтанат?

– Я и сама не знаю, – вздохнула она. – Как-то все неинтересно стало... Хочется быть веселой, хочется посмеяться – и не могу... Но это пройдет. Вот увидишь! Все будет по-старому, правда, Каиркен?

Я кивнул. Я видел, что она не совсем оправилась от болезни. Мне не хотелось тревожить ее, и потому, сам не знаю зачем, я задал вопрос, который давно уже лежал у меня на сердце.

– Салтанат?

– Ау?

– Скажи, только правду... Ты... не любишь Тастана?

Вздох вырвался у нее, тяжкий и глубокий, она подняла на меня свои большие глаза:

– Э-э, Каиркен! Ты ведь и сам понимаешь! – Она помолчала. – Я, мне кажется, несчастлива в любви. До свадьбы я видела Тастана всего три раза. Однажды он мне навстречу шел с товарищами. Второй раз – бросил козла у наших ворот на кокпаре, и третий – когда свататъ к нам приезжал. Он мне казался по-мужски твердым, смелым, решительным. Но я думала, что и ласковым он бывать умеет... Вот так, Каиркен... Так... Но не думай, я не мечтаю о каком-то другом счастье. Я уже привыкла к мысли, что счастье делают своими руками. Но одной мне это не под силу – он сам должен помочь мне.

Помнишь, как я говорила тебе у Кызылжара: в один прекрасный день Тастан скажет мне: «Бери коня, когда хочешь, Салтанат!» Вот я и жду такого дня. Может, тогда наша жизнь и станет счастливой. Ты женишься. Она, несомненно, будет красивая, умная и озорная. Мы построим для вас отдельный дом рядом с нашим. Потом переедет моя младшая сестричка. Так мы все вместе создадим такую жизнь, что каждому, кто посмотрит на нас, станет завидно, такую сладкую, что невозможно насытиться.

Мечта Салтанат меня очаровала и увлекла. Я совсем забыл, как с трудом поднимал ноги, усталый, едва дойдя сюда. Сладкая мечта о жизни, полет воображения и решительная сила в её груди пленили меня сильнее, чем раньше. Я полюбил её ещё сильнее. Я слушал ее и опять с удивлением и нежностью думал, сколько мужества и силы в этой маленькой женщине. Мне казалось, что она, как никто, достойна самой большой любви. Жаль, что Тастан этого так, видно, и не поймет.

Вдруг в дом вошла мать:

– Ай, как вы едите в темноте без света? – и зажгла лампу. Только тогда я заметил, что выпил молоко из общей чаши.

* * *

Окот подходил к концу, мы собирались откочевать снова в Аршабай, на нашу летовку. Салтанат радовалась этому, как ребенок. Я запирал овец в сарае, когда она подбежала ко мне с возгласом:

– Каиркен, а Каиркен! Ты слышал, мы переезжаем в Аршабай?.. – сказала и повисла у меня на шее.

У меня сердце едва не разорвалось в груди от восторга, когда я услышал ее счастливый смех. Ее рука, обвившая мою шею, горячее дыхание, на мгновение опалившее меня, ее ожившие глаза – все было одновременно и так знакомо и уже забыто. Ну как тут было не радоваться вместе с ней?..

Итак, мы откочевывали в Аршабай. Отец и мать с телегой домашнего скарба отправились туда засветло, чтобы успеть поставить к нашему приезду юрты. Салтанат ехала на верблюде, я – на коне, Тастан, ведя гнедого в поводу, шел пешком. Даже в ту ночь, когда затерялись овцы, он и сам не сел на гнедого и Салтанат не позволил его взять. Я не понимал его трогательной заботы о гнедом и бессердечности к жене и самому себе. Вообще болезнь Салтанат, кажется, никак не повлияла на него. За все то время, что она провалялась в постели, он не удосужился хоть раз подойти к ней, хоть о здоровье справиться. У меня создавалось впечатление, что он даже не подозревает о ее страданиях. Стоило ей

подняться, как началось прежнее: «Иди встречай овец!», «Встань посмотри, почему собака лает!», «Согрей воду для гнедого!» А уходя куда-нибудь, так же безразлично наказывал: «Эй, свей сегодня поводья!» «Свяжи кисточки для гнедого!» или «Пока я приеду, налепи-ка пельмени!» Оставаясь одна, Салтанат говорила с горькой усмешкой: «Он, наверное, думает, что я день-деньской в куклы играю»...

И вот теперь Тастан, ведя гнедого на поводу, пешком догонял отбившихся овец, издавая короткое «рр-райт!». То и дело покрикивал на Салтанат, чтобы та лучше погоняла животных. Мне он не говорил ни слова. В последнее время он даже замечать меня перестал.

До Аршабая мы добрались к полудню. Когда показались впереди Каратумсык и колодец в низине, Салтанат от радости захлопала в ладоши.

– Тастан, ты только посмотри, какой он голубой, наш Аршабай! – кричала она. – А вон и насос у колодца, который мы поставили с Кайыркеном, а вон Каратумсык – все, как было!

– А ты думала, что все это куда-то подевалось? – И похлопал камчой по голенищу сапога. – А ну, погоняй!

– Ничего ты не понимаешь!..– вздохнула Салтанат. Тастан презрительно хмыкнул. Вид-

но, хотел показать, что уже привык к чудачествам жены и не стоит на них обращать внимание!

Салтанат снова окликнула его:

– Тастан, ау, Тастан!

– Чего еще?

– Спой, пожалуйста.

От изумления у него, казалось, вот-вот отвалится челюсть.

– Чего? – переспросил он. Казалось, своим ушам не верил.

– Спой, говорю. Вот чего...

Тастан рассвирепел:

– У... ненормальная!.. Несет, как всегда, невесть что! – Я тихо усмехнулся. Она любила вот так подевать Тастана. «Образумется», – говорила она мне потом. И мне хотелось верить, что так оно и будет.

Оставив овец у склона Каратумсыка, мы направились к старикам. Юрты уже были поставлены, а вокруг них буквально стеной стояла такая высокая и густая трава, что невольно хотелось броситься в нее. И Салтанат не утерпела, с хохотом повалилась на землю, окунаясь в зелень. Мне тоже было весело, и я решил попугать ее:

– Змея! – закричал я.

С криком «апа!» она повисла на шее отца, проходившего в этот момент мимо нее. Краска залила ей лицо, она вздрагивала. Только через мгновенье, видимо застыдившись, она отстранилась от него и, как бы оправдываясь, пожаловалась:

– Ата*, это Каиркен все время пугает!

– Ты не сдурел, случаем? – прикрикнул на меня отец. Потом глянул на Салтанат и сказал дружелюбно: – Не бойся, милая. Вот я ему, дурню...

Вон, значит, как: даже отец сумел полюбить нашу Салтанат. Просто не верилось теперь, что это именно он постоянно повторял: «С женщинами построже надо – нечего баловать!» Мне стало радостно.

Веселое настроение Салтанат длилось три-четыре дня, а потом всё резко изменилось. Лицо её побледнело, улыбка стала натянутой и болезненной. Тело начало гореть жаром, и она слегла в постель.

* * *

Весна бушевала вовсю. Мне казалось, что я еще никогда не видел такого голубого неба и такого яркого солнца. Мы жили на Аршабае уже с неделю, когда к нам наконец приехал автоклуб Айдара. Всю зиму он не показывался. И мы обрадовались, думая, что он привез новый фильм.

– «Алпамыса» привез? – поинтересовался Тастан.

* Обращение к свекру

– Э, какой «Алпамыс»? Такой картины еще нет.

– Пустоголовые! – проворчал Тастан. – Не знают, что ставить. Всякое вранье людям везут, а до «Алпамыса» у них, видите ли, руки не доходят!

Такой разговор у них происходит всякий раз, когда Айдар приезжает к нам. Для Тастана нет ни одного героя могущественнее Алпамыса. Для него не существует других стихов и жыров, кроме эпоса «Алпамыс». Он и знать не желает других книг. «Алпамыс» – вот это да! Да к тому же он отсюда, из Каратау. И из нашего рода, из коныратов.

– Один из далеких наших дедов! – с гордостью говорят Тастан.

Дома у нас было две-три книжки об Алпамысе. Если Тастану вдруг захочется почитать, он берет в руки «Алпамыс». Прочитает одну книжку, берется за вторую. Уже, кажется, наизусть все знает, но каждый раз, как впервые, качает головой, удивляется. Его мечта – увидеть «Алпамыса» в кино. Он никогда не встречался с кинорежиссерами, но за глаза честил их: «Бездельники! «Алпамыс» заснять не могут!» Я знаю, что все эти мысли появились у него не без влияния отца и знакомых стариков. Но Тастан, кажется, убежден, что сам до всего додумался.

На этот раз Айдар приехал к нам совсем по другому делу. Ему надо было вручить мне повестку из военкомата.

– Тороплюсь, – сказал он. – Так что расписывайся скорей. Мне и к другим чабанам надо.

Он, видно, и правда торопился, потому что не успел я расчеркнуться, как он сел в машину и запылил по дороге. Из дому вышла мать.

– Куда этого черта понесло? Почему уехал? А где кино?

– Апа, он не кино, а повестку мне привез. Вот, на после завтра вызывают.

– Пауеска? А что это, бог мой?

– В армию, апа.

– Ту-у, чтоб скулы тебе свело! Несешь всякую чепуху!

Трудно убедить мать, что мне действительно пора в армию. Для нее ведь я еще дитя. Она расплакалась. Только отец заставил ее притихнуть.

– Хватит! – цыкнул он. – Один твой сын, что ли, в армию идет? У всех идут и возвращаются. Общий долг! Не молод уже. И хорошо, что призвали. Пусть на людей полюбуется, себя покажет, хлебнет немножко соленого, авось ума прибавится. А то живет шалопай шалопаем!

Салтанат больно переживала эту новость.

– Это правда? – спрашивала она, видимо так до конца и не веря.

– Правда.

– Мне будет одиноко без тебя!

Она всхлипнула.

– Да ты что, Салтанат! Не с чужими ведь остаешься. Мать. Отец есть… Тастан...

– Так-то оно так...– Некоторое время она была задумчива. – Ты и жениться не успел, – сказала наконец. – А я твою будущую жену полюбить успела, веришь? Относилась бы к ней, как к сестре, жалела бы ее. Она мне иногда представляется так ясно, что хочется вскочить с места, подбежать к ней, обнять, поцеловать. Если бы она была рядом, я бы берегла ее пуще глаза своего. Вместе бы песни лунными ночами пели. Вместе бы тосковали по тебе, ждали. Эх, если бы все так было!

Знаешь, расставание с любимым тоже приятно по-своему, ведь в конце концов наступает встреча. И жизнь становится ещё дороже. Хочется жить и жить снова. Иногда мне кажется, что я буду жить вечно, а иногда – что умру внезапно. Я люблю жизнь до самой смерти, люблю до конца…

– Ну что ты говоришь, Салтанат! Какая смерть? Да мы с тобой еще проживем долго-долго. Через три года я вернусь, а до тех пор Тастан совсем другим станет.

Через два дня, сев на отцовского коня, я добрался до станции Калаш. Оставив лошадь у одного знакомого, пересел на поезд и вскоре был в военном комиссариате. Много тут толпилось вызванных, как и я, ребят, и почти возле каждого суетились родственники – отцы, матери, братья, сестры. Мне стало даже немного не по себе, со мной-то ведь никого не было. «А вдруг сразу отсюда и повезут? Я даже не попрощался ни с кем».

Медицинскую комиссию мы прошли довольно быстро. А потом призывники стояли во дворе и шумно переговаривались между собой. Одни предрекали: завтра увезут, эшелон, мол, уже готов; другие возражали: через месяц, сейчас только списки уточняют. Наконец во дворе появился майор и объявил, что все мы можем разъезжаться. Нас вызовут через месяц и тогда уж отправят в армию.

Я обрадовался этому сообщению. Может быть, за то время, пока я дома, Салтанат успеет родить? Хорошо было бы! Мне так хотелось увидеть первенца Тастана.

До дому я добрался часам к пяти. Как только перевалил за Каратумсык, увидел застывших на пороге отца и мать. Они тревожно поглядывали на дорогу. Мать сразу признала меня и побежала в дом, хотела обрадовать Салтанат. Потом появилась снова и, придерживая рукой развевающийся

на ветру жаулык*, метнулась ко мне. Ну прямо как фронтовика встречает! За ней конечно же Салтанат.

За два-три дня я успел здорово истосковаться по Аршабаю, по матери, по Салтанат – по всему, что привык видеть. И теперь радость переполняла мое сердце. Я прибавил ходу. Поравнявшись с матерью, скатился с седла и упал чуть ли не на руки ей.

– Ну как, решили не ехать? Ты будешь дома? – спрашивала она.

– Целый месяц! – отвечал я.

– Вот хорошо, жеребенок ты мой! А я тут ночь не спала, все боялась, что увезут тебя. Ничего, пусть хоть месяц, все же дома...

Подошла и Салтанат. В глазах ее стояли слезы. Постеснялась обнять меня при родителях, пробормотала сдержанно: «Здравствуй!..» Потом сказала, улыбаясь: «Ну вот, целый месяц мы с апа можем не беспокоиться ни о чем».

Салтанат взяла повод коня, втроем мы и подошли к дому, возле которого молча стоял отец. Он, чего с ним никогда не бывало, пожал мне руку и сказал:

– Скоро же ты вернулся! Не натворил ли чего? – И краешком глаза подозрительно глянул на меня.

* Женский платок

– Да нет, все в порядке. Сказали, через месяц заберут.

– Гмм... Вон как. Ну что ж, иди коня на место поставь.

Мое временное возвращение опять оживило Салтанат. Она надела тонкое платье из голубого шелка, которое мне так нравилось, на щеках у нее снова заиграл румянец. Мать, глядя на Салтанат, тоже засветилась, не скрывала своей радости.

Как-то Салтанат позвала меня к себе в отау*.

– Каиркен, иди-ка сюда! Скорее!

Я посмотрел на мать. Она улыбнулась, кивнула головой. Знала, как будто, зачем зовет Салтанат.

Только я переступил порог, Салтанат закричала:

– Закрой глаза. И – не подглядывать!

Я прикрыл глаза ладонями.

– Ближе, ближе. Осторожно, под ногами тазик... Еще, еще. Поворачивай налево. Теперь остановись. Ну, открывай!

Я отнял от лица ладони и увидел красивый девичий борик** с пухом филина на макушке. Борик был отделан алым бархатом с привешенными к нему серебряными монетами. Я замечал раньше, как Салтанат возилась с куском красной ткани, вышивала на нем узоры. Видел, как отрезала она

* Жилище молодоженов.

** Круглая шапка, отороченная мехом.

серебряные монеты со своей жилетки и с занавеса над кроватью. Теперь я восхищался ее искусной работой – борик был сделан замечательно. Она преподнесла его мне как сюрприз. Но зачем? Этого я не понимал.

– Ну как, нравится? – спросила Салтанат, и веселые искорки заиграли в ее глазах. – Это все, что я успела сделать, пока тебя не было.

– Очень здорово! – похвалил я, видя, как хочется Салтанат услышать именно это. – Но кто его будет носить?

– Кто будет носить? А угадай!

– Ты, конечно. Тебе очень должен пойти борик с пухом на макушке.

– И не угадал. Знаешь, кто наденет его? Твоя будущая жена. Я его для нее и шила.

– Моя жена?

– Да.

– Я ведь и женюсь неизвестно, когда. И потом – будет ли она носить такой борик?

– Будет, почему не будет? А нет – повесите на стену. Будет памятью вам обоим обо мне. И матери борик понравился.

– Ты и матери его показывала?

– А что? И отцу показывала. Он взял его, посмотрел так-сяк и сказал: «Красивый... Да сбудутся, говорит, все мечты твои!..» И по спине похлопал, голубкой назвал. А ты говоришь: «Не будет носить». Смотри, я обижусь.

Салтанат и впрямь надула губы. Ей это шло удивительно. Сам не заметил, как сказал: «Хорошо, хорошо, ты права, будет носить...»

Салтанат, выбежав из дому, подскочила к матери, готовившей обед. Я видел через открытый полог, как она обняла мать, как та в ответ нежно провела рукой по волосам Салтанат и как потом обе, окутанные дымом от очага, оживленно о чем-то говорили. И не невесткой представлялась мне Салтанат, а девочкой, едва достигшей совершеннолетия, – так непосредственно и просто выражала она свой восторг.

После этого мне стало настолько неловко выходить на улицу и попадаться на глаза матери, что я какое-то время просто прятался на месте, испытывая внутреннее смущение. Но, подумав, что рано или поздно всё равно придётся с ней говорить, я решил избавиться от этого неприятного момента побыстрее и вышел из дома быстрым шагом. Наверное, мать почувствовала моё смущение, потому что, глядя на меня, ничего не сказала. Только войдя в большой дом, Салтанат подбежала ко мне и, улыбаясь с белоснежными, как жемчуг, зубами, сказала:

– Ты стесняешься, да? – Ерунда какая, пока к овцам дойдёшь, забудешь всё. Хочешь, я налью тебе?

Я молча опустил голову. Она наполнила таинственный ковш прозрачной жидкостью из светлого пшеничного отвара и сказала:

– Ты что, обиделась на меня? Стоишь молчишь. Давай-ка, я сама налью тебе, чтобы смыть свою шалость.

Салтанат засмеялась звонким смехом, обняла меня за шею и поднесла ковш к моим губам. Сердце застучало так сильно, что казалось, сейчас оно выскочит из груди и плеснется в этот загадочный ковш, словно белая пена. Весь мир перед глазами потемнел.

– Еще? – спросила Салтанат.

Только тогда я заметил, что допил всю жидкость.

– Нет, хватит, – выдохнул я с трудом. Еще хотелось пить, но я не хотел снова испытывать неудобство.

После этого Салтанат, чтобы напиток не остыл, налила его маленькими порциями в бурдюк, обернутый войлоком, и завязав его, протянула мне.

– Ну что, отнесешь Тастану?

– Конечно...

Через некоторое время я отправился к отаре. Тастан раскрыл рот от удивления, увидев меня.

– Не уехал, да? – в голосе его сквозила радость. – Очень хорошо. Ашыма* принес?

* Кислый напиток, настоянный на просе, пшенице.

– Принес.

– Давай. В горле пересохло.

Тастан, сидя на земле, подобрал под себя ноги, ухватил посудину своими могучими волосатыми руками и жадно стал тянуть из нее. Сосуд, зажатый меж его ладонями, мог в любую секунду треснуть, как яйцо. Он выпил до конца, выдохнул протяжное «У-уф!»

– Ну и жара! Хорошо – ашыма холодная как лед! Так пить хотелось!

Я вдруг подумал, что, если бы не я, он так бы и ходил с потрескавшимися от жажды губами до глубоких сумерек. А вдруг бы я уехал? И сменить его некому. Мне стало жаль Тастана. Каким бы он ни был, а все-таки мне родной брат. И ни на кого-то я его не променяю. Пусть он вредный, бесчувственный, как полено... Ведь был же он когда-то другим. Помню же я. И к отцу льнул, а от матери и вовсе не отставал, товарищей у него полно было. Только потом с ним что-то поделалось. Начали, помню, ездить к нам всякие, и пошли разговоры: настоящий мужчина... Предки жили – так поступали... Женщина в семье – обуза на шее... Дальше – больше... На глазах менялся Тастан...

– Хорошо, что меня не забрали в армию, правда? – спросил я.

– Еще бы...

– Но через месяц все равно ехать. Оставлять тебя не хочется.

– Что значит – не хочется? Положено – отслужи.

– Сменщик тебе нужен. Отец-то совсем стар стал. Хорошо, что у нас Салганат есть. Правда?

– Гм... Чего это ты? – спохватился он.

– Я говорю, хорошо, что Салганат у нас есть...

– Брось ты про нее!..

И больше – ни слова. Но я был рад хотя бы тому, что он не стал оспаривать моего мнения. Это был наш второй разговор о Салганат после Бургендисая.

Я отправил Тастана домой, а сам не спеша стал заворачивать к дому овец. Когда я добрался до летовки, солнце село, из степи потянуло прохладой. Со стороны Кара-тумсыка проглянула луна.

Меня ждали. Мать отварила мясо, сочни сохли на доске, овцы бодро трусили, я шел сзади. Еще не доходя до дому, я увидел Тастана с домброй в руках. Я был поражен. Никогда, а тем более при матери, он не имел привычки сидеть рядом с женой. А сейчас не только сидел и на домбре еще поигрывал.

– Ай, Каиркен, иди-ка сюда! – закричал он, увидев меня. – Черт попутал эту ненормальную, пристала ко мне, играй, говорит. Сыграй-ка, пусть успокоится, – Тастан передал мне домбру, а сам стал нарезать мясо.

Салганат стояла рядом, хохотала до слез.

– Каиркен, – говорила она, – ну и мастак у тебя братец, ой-ей!.. Такого домбриста по всему Каратау не сыскать! Пальцы у него, смотри, какие тонкие да длинные – прямо для домбры. А играл так, что мы с апой разрыдались прямо.

Мать усмехнулась. Мне тоже стало весело. А Тастан неожиданно рассердился.

– Хватит вам! – прикрикнул он. – Нашли смешное! Сказал же, не умею играть, зачем приставала. Ишь, хохочет, и впрямь тронутая.

И все-таки это была первая перемена в твердолобом Тастане, первая победа шаловливой Салганат над мужем. Мне хотелось расцеловать свою женеше, да и всех – и мать, и отца, и Тастана.

Ужинали при луне. Где-то вдалеке темнел Каратумсык. Между домом и Каратумсыком, позвякивая подковами, бродили отцовский рыжий и Тастанов гнедой. Их темные силуэты вырисовывались на фоне еще не угасшего неба.

После ужина стали петь песни. Тастан хмыкнул, глядя на нас, умылся и отправился спать. Такая уж была у него привычка – храпеть, как только голова касалась подушки. Привычка эта осталась с детства. Вот и сейчас, не успев улечься, он начал

выводить трели. Теперь, как ни старайся, не разбудешь. Разве что выстрелить у него над головой. Мать тоже пошла в дом отдыхать. Мы с Салтанат остались вдвоем. Это был уже второй случай, когда я слушал Салтанат. Я только подпевал ей немножко, а на высоких нотах вообще замолкал. В такие минуты она укоризненно качала головой. Но мне доставляло большее удовольствие слушать ее, чем петь самому. Я восторгался ее чистым и нежным голосом. Она пела «Гаухартас». Глаза ее смеялись, а лицо сияло каким-то неповторимым светом. Я смотрел на нее и чувствовал себя в неоплатном долгу перед ней за ту радость, которую она подарила мне, всем нам с тех пор, как появилась в нашем доме. Да, не с нею ли вместе пришли хоть и маленькие, но перемены в наш привычный безрадостный уклад жизни? Даже отец помягчел душой, все реже и реже слышали мы его окрики. Видно, смех Салтанат растопил лед и в его сердце. Это она, доверчивая, нежная, заставила его по-иному взглянуть на себя, на мир вокруг. А сегодня, кажется, дошла очередь и до Тастана.

– Салтанат! – позвал я ее.

– Да?

– Знаешь, я тебя очень люблю. Всей душой, поверь. Мне хочется подарить тебе что-нибудь самое дорогое, самое удивительное на свете. Но у меня

нет ничего такого, да я и сомневаюсь, что есть на земле подарок, который был бы достоин тебя. Потому я подарю тебе песню. Песня всегда приносит радость. Ты «Женеше» знаешь?

– Знаю.

– Нравится тебе?

– Очень.

– Слова я написал свои. Прежние слова не подходят. И назвал я песню не «Женеше», а «Моей женеше». Почитай. А потом споем вместе.

Я протянул ей листок.

Вольная дочь степи необъятной,
В песне живешь ты, о женеше!
Нравом веселым, улыбкой приятной
Счастье несешь ты, о женеше!

Лаской своей ты внесла перемены
В жизнь, что суровой была, женеше,
Милой приветливостью откровенной
Радость даришь очерствевшей душе.

Песней чудесною, нам посвященной,
В дом ты явилась к нам, женеше.
В самое светлое сердцем влюбленная,
Жизнь ты вернула нам, женеше!

Салтанат прочла и ее лицо покрылось румянцем от смущения. В глазах ее я увидел радость.

– Все ты преувеличил... Я вовсе не такая...

– Оллахи*, не преувеличил! – забожился я.– Ни одного слова неправды. Этого еще мало, пожалуй!..

Салтанат молчала. Румянец на ее щеках сменился бледностью. Только после долгих моих уговоров она согласилась спеть. Песня получилась вроде бы ничего.

Неожиданно Салтанат расплакалась.

– Салтанат, да что с тобой?

– Ничего, ничего. Не обращай внимания, – она утирала слезы. – Ты... ты поэтом станешь, Каиркен, большим поэтом. Я потому и заплакала. От радости, конечно. Не буду больше. Я петь буду.

Она выскочила на улицу, и тут же я услышал ее голос:

– Каирке-ен, иди сюда, домбру прихвати!

Я не поверил своим глазам, когда вышел из юрты. Салтанат сидела на одеяле рядом с матерью. Неужели она разбудила ее?..

Я подсел к ним.

– Играй, – потребовала Салтанат. – Играй. А потом подпоешь.

Мы спели новую песню снова. Красивая мелодия полетела над степью, над Аршабаем, убаюкивая просвирник и курай, полынь и гармалу, холмы и низины. Все кругом было очаровано звуками нашей песни. Тишина лежала над степью. Луна, застывшая прямо над головой, засмотрелась на нас. Даже звезды, казалось, перестали перемигиваться друг с другом. Мать слушала внимательно. Когда мы кончили, она вытерла концом жаулыка глаза и сказала: «О Алла, спасибо! Айналайын, дети мои!» И поцеловала Салтанат в лоб.

Салтанат спела еще что-то. Тастан, лежавший неподалеку, беспокойно заворочался, а потом вдруг сел. Погладил рукой обритую наголо голову, расхохотался.

– Ой, вы поглядите на нее! – сказал он. – И голос ничего! Где ты этому выучилась?

– В степи, вот в этой степи! – Салтанат рассмеялась, указывая вдаль, в сторону Каратумсыка.

– Сочиняй. Я день-деньской брожу по степи, а что-то не пою.

– Это потому, что ты не прислушивался, о чем шепчутся головки просвирника, когда качаются на ветру. А ведь они поют. И еще какие песни!

У Тастана, видно, от этих речей в голове пошел тумал, он даже потряс ею. Потом проворчал недовольно:

– Всегда так. Спросишь что-нибудь, а она как ненормальная отвечает.

* Ей-богу!

И снова завалился спать. Никак не может побороть свою дремучесть Тастан. Мелькнет в нем что-то доброе, человеческое, и он скорее глушит это в себе.

...Приближался день моего отъезда. Мать с трепетом провожала глазами каждую машину на дороге: не за мной ли она?

В один из таких дней мать разбудила меня спозаранок.

– Каиржан, ау, Каиржан! Вставай, вставай, родной, скорее!

Я вскочил с постели.

– Что случилось? – голос мой прозвучал испуганно.

Белый жаулык матери сбился на затылок, седые волосы были растрепаны. Всегда спокойное лицо ее исказил страх, в глазах затаилась боль.

– Салтанат мучается, – сказала она. – Садись на лошадь и скачи в центр. Привези доктора. Скорее, айналайын. Ойпырмай-ай, Создатель мой, да разрешиться бы ей благополучно! Скорее, свет мой!..

Сказав это, мать торопливо скрылась в отау. Оттуда слышались стоны Салтанат. Тастана дома не было. Он уехал на той чабанов в Караспан. Давно уже не гонял он по степи на своем гнедом, вот и решил попытать счастья на предстоящей байге.

Я наскоро оседлал отцовского рыжего и поскакал что есть мочи на центральную усадьбу.

Рассветало. Солнца еще не было. Беспечная аршабайская степь наслаждалась утренним сном, будто и не слышала стонов Салтанат. Каратумсык, чернеющий вдали, был похож на гиганта-богатыря, отдыхающего в поле после жестокой битвы. Степь поблескивала капельками росы. Казалось, что чья-то щедрая рука рассыпала по полю бисер. Ветер, бивший навстречу, холодил тело.

Пока я добирался до роддома, совсем продрог. Здесь еще спали. Дежурная сестра, услышав скрип двери, выглянула из кабинета.

– Вам кого? – спросила она. Лицо ее было усталым после бессонной ночи.

– Я по срочному делу...

– Тсс, – зашипела она, прикладывая палец к губам. – Разбудите всех. Проходите сюда.

Ступая на цыпочках, я прошел в кабинет дежурной. Не успев переступить порога, доложил сбивчиво, зачем пришел.

– Поскорее! – торопил я.– Прошу вас! Девушка указала кивком на палату, где, видимо, лежали роженицы.

– Не могу же я их оставить! – сказала она. – Но помочь постараюсь. Вы на лошади?

– Да.

– Тогда пойдемте. – Она вывела меня во двор и, остановившись под молодыми тополями, указала рукой в сторону улицы: – Видите вон тот домик с белой крышей?

– Ну.

– Там живет акушерка Жамиля. Она должна сменить меня через час. Или она пусть едет, или меня сменит. А я пока приготовлю, что надо.

Ни говоря ни слова больше, я поскакал к домику с белой крышей...

Через полчаса мы мчались в Аршабай на «скорой помощи». Рядом со мной была дежурная сестра. Шофер не знал дороги, и мне пришлось, оставив коня во дворе Айдара, поехать с ними.

...Салтанат к нашему приезду стало совсем плохо. Мать и вовсе лишилась покоя, бестолково бегала из юрты в юрту. Лицо ее просветлело лишь на мгновенье, когда она увидела нас. В глазах зажглась надежда. Не успела Раушан сойти с машины, мать схватила ее за руку и повела в отау, где теперь уже кричала Салтанат.

Я остался на улице. Постель во дворе была еще не прибрана. Солнце успело нагреть ее. Я сел поверх одеяла, нетерпеливо прислушиваясь к тому, что происходило в юрте. Только вчера Салтанат сидела здесь, наполняя своим серебристым смехом двор, и, как всегда, ее непосредственность заражала нас, и мы смеялись вместе с нею. А сегодня она страдала, и жизнь ее была на волоске. Я находился рядом, но был бессилен помочь ей. Каждый стон, вырывавшийся у нее, причинял мне боль. Казалось, что сердце мое разрывается на куски от сознания моего бессилия.

Через час стоны утихли. Слышались только испуганные голоса матери и акушерки. Я не мог разобрать, о чем они говорили, но сердце чуяло беду. Мать медленной, спотыкающейся походкой вышла из юрты. Из глаз ее бежали слезы. Я кинулся к ней.

– Иди, иди, сынок, – сказала мать, утирая жаулыком глаза.– Тебя зовет.

Я вбежал в юрту. Салтанат лежала белая как полотно. Сверху она была укрыта тонким одеялом. Когда я приблизился, протянула мне руку. Я взял ее нежные пальцы и легонько пожал их. Она прошептала что-то бледными губами. Я не расслышал. Тогда Салтанат подняла вверх руку и показала на висевшие у нее над головой красные шелковые кисточки.

– Подай! – попросила она едва слышно.

Я снял кисточки и вложил их ей в руку. Салтанат подержала кисточки, потом протянула мне.

– Когда Тастан... когда он вернется... отдай... Пусть... пусть... украсит... голову... гнедого. Тебе... тебе... я бла-го-дар-на...

Салтанат слабо пожала мою руку и вздохнула. Пальцы ее разжались, и рука упала поверх одеяла.

Я встал перед постелью на колени и начал гладить ее по волосам. Подушка у нее под головой насквозь промокла от пота. Салтанат не проронила больше ни слова, не пошевельнулась. Губы ее были полуоткрытыми, она со всхлипами всасывала в себя воздух.

* * *

Через неделю после ее похорон я уезжал в армию. В доме стояла тягостная тишина. Горе, свалившееся на нас, особенно сказалось на матери. Она будто состарилась лет на десять. Когда наступил день моего отъезда, запричитала в голос: «Умру, умру я, не увижу тебя...»

Тастан был с отарой. Он не провожал меня. Весть о смерти Салтанат он перенес молча. Да и вообще замкнулся в себе. Молча уходил в степь и так же молча возвращался. Даже с отцом ни разу не перемолвился словом. Шелковые кисточки, оставленные Салтанат, я отдал Тастану в день похорон. Он молча сунул их в нагрудный карман. Дрогнули и сошлись на переносье его густые брови, а губы заметно потянуло судорогой, отчего показалось, что он усмехается криво и виновато.

Мать немного проводила меня. Она, возможно, пошла бы и дальше, если бы не отец.

– Иди, иди домой, – сказал он.– Нечего зря парня расстраивать.

Я ехал на гнедом, отец на своем рыжем. Дорога на станцию пересекала Каратумсык, на самой вершине сопки была могила Салтанат. В прошлом году на этом месте я сидел на камне и слушал, как Салтанат, бродя среди цветов, пела «Гаухартас». Кто мог подумать тогда, что черный камень на сопке станет могильной плитой? И вот теперь я ехал сюда, чтобы попрощаться с моей женеше.

Еще издали я заметил на вершине рядом с могилкой что-то темное – не то овцу, не то беркута.

– Коке, что это?

– Где?

– На могиле.

Отец поднес руку ко лбу, пригляделся.

– Беркут, наверно. Будь он неладен, могильник, конечно.

Мы пришпорили коней. Птица не обращала на нас ни малейшего внимания, сидела неподвижно. Мы подъезжали все ближе и ближе. Теперь я понимал, что темный предмет – не беркут, а человек, и человек этот – Тастан. Он должен был ждать меня по ту сторону Каратумсыка и сопровождать потом до Арыси.

Трудно передать, что я почувствовал, узнав его. И его согбенная, будто постаревшая фигура, и большие руки, бессильно брошенные на колени, и склоненная голова были полны такой жестокой тоски и страдания, что у меня невольно дрогнуло сердце.

Не знаю, поверил бы я, если бы мне пересказали то, что видел сейчас. Вряд ли!.. Лишь перед мертвой открыл свою душу Тастан...

Отец тоже узнал Тастана. Я тревожно взглянул на него – сейчас скажет: чего, мол, как баба раскис? Но случилось неожиданное.

– А ведь это Тастан! Вот бедолага! Сидит-то как, смотреть страшно...

Тастан заметил нас, когда мы были уже совсем рядом. Воровски оглянулся, будто его застали за чем-то постыдным, вскочил и поспешно повернул вниз, на ту сторону сопки. Но отец окликнул его. Тастан неохотно остановился, понуро подошел к нам.

– Уезжаешь? – спросил он тихо.

Спросил, наверно, просто так, чтобы что-то спросить: голос его был пуст, лишен всяких интонаций.

– Уезжаю.

Он кивнул. Мы молча стояли у могилы Салтанат. Отец, опустившись на колено, читал суру из Корана. Мы с Тастаном были безмолвны. Тихие и печальные текли минуты. Наконец отец поднялся, вздохнул и глянул на Тастана.

– Вот что значит не ценить золото, которое в руках, – сказал он. – Ты, сынок, из рук золото упустил...

Тастан долго стоял молча, потом произнес тихо, но твердо:

– Ты сам виноват, отец, ты сделал меня таким... Ты и твои дружки...

Как знать, может быть, эти слова давно лежали у него на душе?..

В последний раз я взглянул на могилку Салтанат, устало потер лицо. Прощай, моя женеше! Прощай! Всего год ты побыла с нами, а как много преподала своей жизнью. Ты оставила нам завет – жить с улыбкой... Я постараюсь пронести его через всю жизнь. Не услышит более степь твоего шаловливого смеха. Не будет парить под небом Аршабая твой красивый голос. И все равно ты с нами, потому что осталась в нас.

Прощай, Салтанат!..

1967 г.

SANA PUBLISHING

Дулат Исабеков

Гаухармас

Главный редактор	*Теңіз Сейілхан*
Корректор	*Майра Айжарыкова*
Дизайнер	*Мадияр Карбозов*
Верстка	*Елена Огурцова*

Подписано в печать 19.11.2025. Формат издания 84/108 $^{1}/_{32}$
Офсетная печать. Вид шрифта «Arno Pro».
Печатный лист 6,5. Тираж 1000 экз.
Заказ № 2974.

ТОО «Sana Publishing».
Адрес: РК, г. Астана, ул. Шамши Калдаякова, 13.
+7(775) 909 01 77, email: sanabaspasy@gmail.com
Для покупки книг по оптовой цене:
Тел. +7 (700) 171 20 24

16+

По данному QR можно заказать книгу